

OPPIA



НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ
„Рожденные бурей“

АЛЕКСАНДР КОНОНОВ
„Чапаенок“

ПЕТРО ПАНЧ
„Простреленная
фуражка“

АНДРЕЙ ГОЛОВКО „Фил

АНДРЕЙ ГОЛОВКО
„Красный платок“

АРКАДИЙ ГАЙДАР Р. В. С.

ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ

„Другая революция“

ТАЗРЕТ БЕСАЕВ „Наказ отца“

„Попок“

ЛЕОНИД ЖАРИКОВ

„Пашка
Огонь“

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

„Гуси-лебеди летят“

ПЕРВЫЕ ЗНАМЕНА

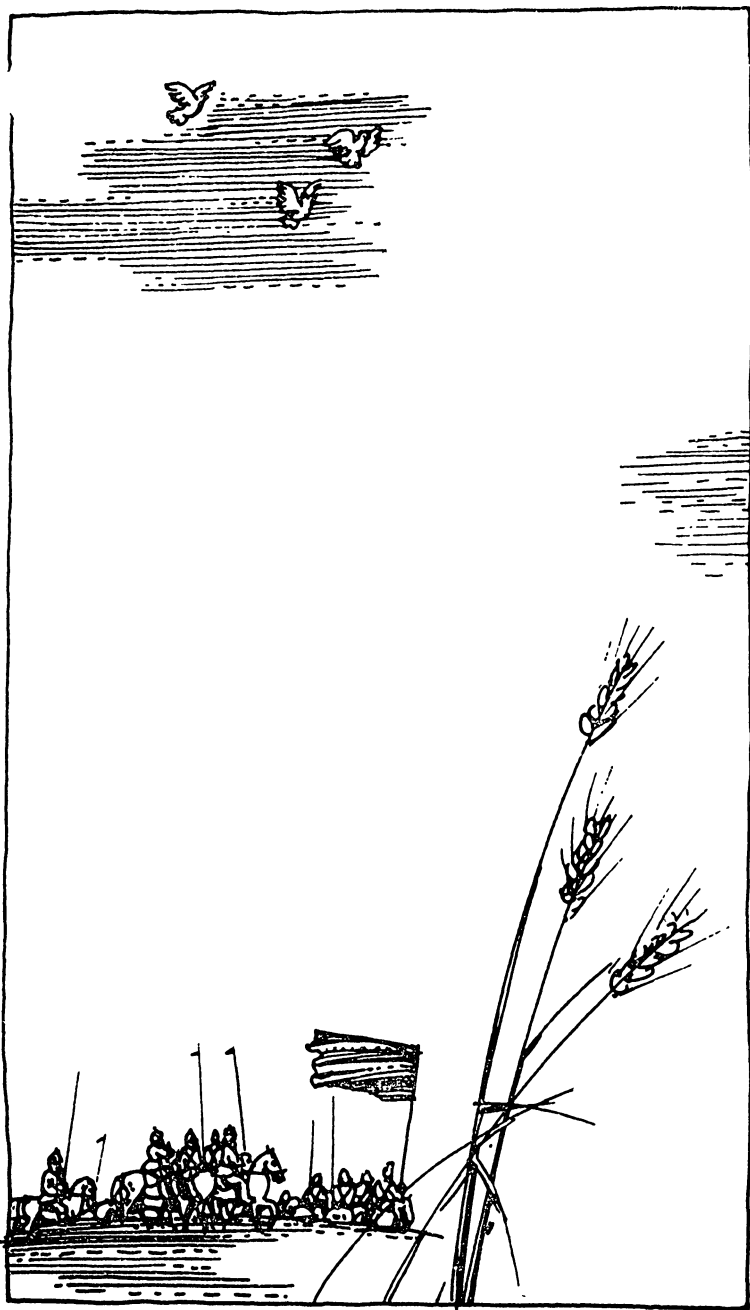
*Октябрьский флаг над перекрестком,
Проходят дети предо мной...
Я вспоминаю тех подростков,
Что шли с винтовкой за спиной.*

*Они по песням нам знакомы,
Герои тех далеких лет.
Их в бой водили военкомы
Дорогой славы и побед.*

*И в свет, что озарит просторы,
Была их вера горяча.
Они слышали залп «Авроры»,
Видали в Смольном Ильича!*

*Они по долам и по склонам
В атаке мчались огневой,
Они октябрьские знамена
Впервые взвели над землей!*

Нази Қиласония



Орлята

РАССКАЗЫ

*Для детей
младшего и среднего
школьного возраста*

Художник
О. А. Векленко

ХАРЬКОВ "ПРАПОР" 1987

ББК 84(2)7-4
О-66

Составитель
Григорий Михайлович
Гельфандбейн

**Орлята: Рассказы: Для детей мл. и сред. шк.
О-66 возраста / [Сост. Г. М. Гельфандбейн]; Худож.
О. А. Векленко.— Х.: Прапор, 1987.—208, [1] с.,
ил.**

В сборнике — рассказы советских писателей, представляющих литературу разных национальностей нашей Родины. Детство юных героев этих произведений совпало с событиями Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Они становятся участниками борьбы за свободу и счастье трудового народа.

К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

0 4801000000-041
М218(04)-87 65-87

ББК84(2)7-4

ДРУГАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Рассказ

1 У Полицейского моста вагон неожиданно остановился. Антошка прижался к стеклу, но ничего не увидел.

Сидевший против него седой важный барин прошипел раздраженно: «Безобразия!» — и пристукнул крючковой палкой о пол. Кондуктор же, вернувшись в вагон, коротко объявил:

— Вагон не пойдет дальше, граждане!

— Почему?

— Потому, что не пойдет!

Кондуктор пожал плечами и наклонился к сумке, пересчитывая выручку. Пассажиры стали выходить, ворча и споря. Антошка оторвался от окна и пошел за другими, равнодушно помахивая узелком с картошками. Неожиданное приключение на знакомой скучной дороге было ему приятно. Он весело соскочил с площадки и оглянулся.

Сзади Невский, как всегда, сиял голубым заревом электрических фонарей. Сверкали витрины магазинов, таинственно мерцали расцвеченные вывесками фонари кинематографов, гудела плотная толпа пешеходов, звенели трамваи, ревели автомобили. Но впереди, за длинной цепью нанизанных на рельсы вагонов, огни были погашены, поперек улицы стояли цепью люди с винтовками, и за мостом грелись патрули у красных островов тлеющих костров.

Мальчик ни на секунду не задумался: идти ли дальше, или вернуться домой. Он подбросил крошечный узелок свой, закинул его за плечо и пошел вперед.

У вагонов стояли кондуктора и пассажиры — они с любопытством смотрели на солдат.

Нарядная барыня, негодовавшая у ступеньки вагона, крикнула страшным голосом:

— Куда ты, мальчик! Там большевики!

Антошка оглянулся на нее с холодным любопытством, но промолчал и не замедлил шагов. Тогда, глядя ему вслед, она проворчала иступленно:

— А! Их же отродье! Шпион!

Стоявшие за мостом люди с винтовками видели, как шел к ним мальчик со смешным узелком за плечами, но не остановили его. Он подошел к костру, погрел ноги, потом руки, перекидывая из одной в другую узелок с торчащими ушками; и тогда, решив, что познакомил с собой других достаточно, он спросил сочувственно следивших за ним людей:

— Холодно вато, братишки?

Один из них посмотрел на Антошку, угрюмо покачал головой и вдруг сурово оборвал его:

— А тебе-то что тут надо?

Во влажных глазах его струился смех, но Антошка вздрогнул от сурового вопроса. Помахав над костром узелком с картошками, он кивнул на цепь омертвевших вагонов:

— Трамвай не пошел дальше. А я вот жратву нес отцу. Мамка послала. Можно мне пройти?

— Куда?

— На Васильевский.

— Зачем?

— Да вот же к отцу, на фабрику...

— Кто он — отец твой?

— Рабочий.

— Откуда?

— С Невской ниточной...

Угрюмое лицо красногвардейца стало мягче. Он облокотился на винтовку и засмеялся:

— А на Васильевский зачем твой отец попал?

— Ушел вчера с делегатами туда на мануфактуру. И вот нет. Не емши, а мамка чуть не плачет — куда пропал... Найти надо. Вот картошек несу...

Красногвардеец переглянулся с товарищами — он, вероятно, был старшим. Один из слушавших бойкую болтовню Антошки солдат покачал головой:

— Не найдешь! Никого там нету теперь!

— А где они?

— Не знаю уж!

Антошка вздохнул. Вокруг него собрались люди с винтовками. Они разглядывали его и слушали. Осме-

лев, он потрогал винтовку у одного из них, присмотрелся к затвору и спросил:

— А вы зачем тут с ружьями стоите, братишки? Революция, братишки, да?

— Революция!

— А уж она была ведь — одна? Зимой, а?

— Была! Теперь другая будет!

— Ого, другая! — удивился Антошка, тихонько поглаживая скользкий ствол винтовки. — Другая! Это уж наша, братишки, да?

— Наша, — засмеялся красногвардеец, — наша.

— Чтоб лучше жить всем было?

— Вот именно!

— Тятка говорил! — вздохнул Антошка. — Тятка мне все говорил! Только не сладите вы с ними, пожалуйста. Стрелять будете?

— Понадобится — и стрелять будем!

Антошка с завистью посмотрел на твердые руки, сжимавшие винтовку и приходившиеся ему против самых его глаз.

— А зачем вы тут караулите? Они где?

— Во дворце заперлись!

— Там?

— Там!

У мальчика сверкнули глаза. Красногвардеец усмехнулся:

— Отец у тебя не большевик?

— Большевик!

— А ты?

— Я тоже!

— Ага! Ну что с тобой делать — значит, ты свой! Ступай прямо, потом направо, выйдешь к арке — там спросишь, где с Невской ниточной дружина стоит! Гляди, и отца найдешь!

— Ой, братишки! Правда?

— Пойди погляди!

Антошка последил за указывавшим в темноту пальцем, взмахнул узелком и пошел недоверчиво от костра, думая, что его вернут назад и скажут, что смеялись. Но никто его не вернул. За углом он вздохнул свободно и побежал по каменной мостовой к огромной арке, которой обрывался переулок, погруженный во тьму.



Под аркой, без костров, невидимые в темноте, стояли вооруженные люди. Антошка спросил деловито:

— С Невской ниточной дружина не здесь?

— Нет! Зачем надо?

— К отцу. Где они?

— Дальше!

Штык винтовки просунулся под арку, указывая путь. Антошка кивнул головой, проскользнул между рядами стражи и вышел на площадь. Там, как на другом берегу широкой черной реки, горел желтыми огнями бесчисленных окон Зимний дворец. Антошка увидел тени перебиравшихся через площадь людей и пошел весело за ними.

2 Отца нигде не было. Блуждая по площади, Антошка обошел кругом дворец. За его решетками, у ворот, у входов, у подъездов стояли часовые. Это были молодые люди, одетые в новенькие военные формы.

«Юнкера!» — подумал Антошка, припоминая не раз слышанное в этот вечер слово.

Слово было незнакомое и поэтому важное и жуткое, как эти люди с винтовками, охранявшие дворец и засевшего в нем неведомого врага.

Антошка нечаянно вышел на Зимнюю канавку и побрел по ней, прячась в тени гранитного барьера. Он дошел до арки дворца, никого не встретив. С этой стороны, видимо, не ожидали нападения. Здесь было тихо. Антошка даже свистнул от удивления, дивясь тому, что отсюда никто не думал нападать.

Он уже решил вернуться к солдатам, окружавшим площадь, сообщить им об этом упущении, но в тот же миг из черной впадины подъезда оглушил его звонкий окрик:

— Стой! Кто идет?

Антошка шарахнулся в сторону, но из подъезда тотчас же высунулось дуло винтовки с острым жалом штыка.

— Стой, стреляю!

Антошка вздохнул и с размаху сел на мостовую, чтобы доказать свою неподвижность.

— Поди сюда, мальчик! Слышишь?

Ничего не оставалось, как подойти. Антошка поднялся, охая и вздыхая, подошел ближе. В подъезде

стоял молоденький юнкер. Он посмотрел на мальчишку беззлобно, но удивившись. От скуки он стал говорить с ним:

— Зачем ты здесь шлешься, мальчик? Того и гляди, стрелять будут! Что тебе надо тут?

— Я ведь к отцу шел...

— Где твой отец? Во дворце?

Антошка ответил твердо: «Во дворце!» Ему казалось, что после этого юнкер может ограничить только выговором свое право над его жизнью и смертью. Юнкер же спросил с любопытством:

— Кто твой отец? Швейцар?

— Цвицар! — должен был согласиться Антошка.

Юнкер строго положил руку на плечо мальчика. Антошка закрыл глаза, готовясь выслушать приговор.

— Слушай, мальчик! Я тебя, пожалуй, впущу, но ты прежде всего пойдешь в юнкерскую комнату — первая комната за белым залом, — спросишь там дежурного и скажешь, чтоб он прислал сюда бутылку вина. Понял?

Антошка кивал головой утвердительно — все было очень понятно и гораздо менее страшно, чем он готовился услышать.

— Бутылку вина, обязательно бургундского! Скажешь, что Хорохорин просит бургундского, иначе он бросит пост, потому что тут холодно и я устал! Понял? Потом можешь идти к отцу. Ступай.

У Антошки похолодело сердце, обмякли ноги. Он шел в пасть врага и смотрел, как юнкер, нажав ручку двери, распахивал ее для него.

— Только обязательно бургундского, понял?

— Понял, — вздохнул Антошка, проскальзывая в дверь: надо было идти, чтобы не выдать себя.

— Смотри! Поймаю — оборву уши, если не сделаешь, как сказано!

Антошка стоял уже за дверью. Юнкер погрозил ему вслед. Антошка взмахнул узелком и пошел прямо по коридору, делая вид человека, привыкшего к этой дорожке, как к родной избе. Он не оглянулся назад, не смотрел по сторонам, шел, помахивая узелком, подняв голову. Впрочем, если бы он и не делал всего этого, если бы он даже открыто и честно изумлялся блеску,

золоту, шелку и богатству, едва ли бы кто-нибудь заметил его и заинтересовался им.

Во дворце с этой стороны было пустынно. Довольно часто встречались служители, казаки, офицеры, юнкера, но все они были растерянные, взволнованные и заняты собой. До мальчишки с красным узелком никому не было дела, тем более что он издалека еще уступал всем дорогу и всех обходил, заранее сворачивая в сторону и прижимаясь к стене.

От его шагов не смолкли, не утихли даже голоса говоривших казаков. Антошка слышал проходя громкий голос, убеждавший слушателей:

— Надо уходить — говорю вам! Сейчас палить будут с крейсера по дворцу! Черт с ними, с министрами этими! Нужны они нам, что ли?

Антошка одобрительно оглянулся на голос — хотелось ему тихонько указать им на свободный выход со стороны Зимней канавки, но он прошел, не сказав ни слова.

Он уже с полчаса плутал по дворцу с веселым любопытством. Над ним сияли хрустальными люстрами золоченые потолки залов. Длинные коридоры выводили его к веренице нарядных комнат. Никто его не останавливал. Взволнованная суета, офицеры, винтовки, тихая команда не трогали его.

В одном из коридоров Антошка наткнулся на двух офицеров, размахивавших шашками друг перед другом.

Он остановился, в восторге разглядывая настоящее сражение, но тут же заметил, что руки бойцов были нетверды, движения неуверенны, окружавшие их юнкера пересмеивались — офицеры были пьяны.

Антошка вспомнил о бутылке бургундского и пошел дальше. В конце концов, плутая по комнатам, ему удалось найти и ту, которая была временно обращена в казарму для юнкеров. Здесь было тихо, но накурено, грязно и тускло. По полу были разбросаны тюфяки и окурки. За мраморным столиком сидел юнкер с закрытыми глазами, но в полной форме и вооружении. Антошка подошел к нему:

— Вы не дежурный?

— Дежурный. Что нужно? — ответил он равнодушно.

— Вам велел сказать Хорохорин, чтоб вы послали ему...

— Вина? — коротко перебил он.

— Только он сказал, бургундского чтобы...

— Ящик под койкой, в углу...

Антошка оглянулся по комнате и посмотрел на койку, но не двинулся с места, не зная, что делать.

— Ну, что стал? Возьми и отнеси! Что я, сам разносить им буду?

Антошка пошел к койке.

— Одну только! Смотри!

— Я одну! — сказал Антошка, шаря под кроватью рукой и натываясь на ящик. — Нашел.

Он вынул за узкое горло бутылку и пошел к дверям. Дежурный посмотрел на его руки, крикнул:

— Спрячь за пазуху, не разбей!

Антошка засунул бутылку под куртку и, придерживая ее рукой, вышел.

Обратный путь он совершил тем же порядком, плутая из комнаты в комнату. Он не торопился. Но где-то, точно под самой крышей, ахнул пушечный выстрел, стекла отозвались нежным стоном, и все во дворце оживилось преувеличенной суетой.

Мимо Антошки пронеслись два штатских человека. Они остановили служителя в торжественной ливрее, отделанной красным:

— Как в подвал пройти? Где подвалы?

Служитель показал, как пройти.

Когда они скрылись, он равнодушно заметил:

— Как палить начнут, и в подвале не спрячешься!

— Кто это? — спросил Антошка. — Министры?

— Какие министры! Так...

— А министры?

Служитель посмотрел на мальчишку, на красный узелок в руке, хотел спросить, что тому надо здесь, но не удержался от удовольствия поговорить с посторонним и сказал, безнадежно махнув руками:

— Совещаются!

Антошка хихикнул и, не дожидаясь расспросов, умчался прочь. Сидеть во дворце, хотя бы в подвале, под орудийным обстрелом, застрять здесь на всю ночь ему не хотелось. Он усиленно начал разыскивать

выход на Канавку и нашел его. Он выбрался наружу с глубоким вздохом, оглянулся в темноте, даже крикнул тихонько, но никого не заметил.

Должно быть, часовому надоело ждать. Антошка потер уши, спасенные случаем от трепки, прихлопнул дверь и торопливо ринулся в темный мрак ночи.

Рывкнул еще один выстрел с Невы, сотрясая воздух. Антошка прижался к гранитному барьеру и, прячась за ним, пошел прямо.

Кругом было тихо и пустынно. Но на площади мелькали тени людей, двигавшиеся из-под красной арки ко дворцу. Они скоплялись за колонной, торчавшей мрачной тенью над серединой площади, и Антошка побежал туда, спотыкаясь по камням.

3 Он едва не наткнулся на щетину штыков, выступивших вдруг из темноты.

— Кто это?

— Свой! — прошептал он задыхаясь.

Тогда в темных рядах кто-то узнал его.

— А, нашел отца, что ли?

— Не нашел. Я во дворце был.

— Как — во дворце? Врешь!

Вооруженные люди обступили его.

— Как туда попал? Что там делают?

Антошка, захлебываясь от беготни, волнения и желания все сразу рассказать, стал говорить. В подтверждение истины своего рассказа он вынул из-за пазухи бутылку и предъявил ее удивленным красногвардейцам.

— Вот она! Юнкера там нету, пойдемте туда! Оттуда зайти можно — никто не увидит!

— А засады там нет?

— Ничего там нет.

Над его головой совещались шепотом. Антошка слышал все.

— Попробовать разве?

— А мальчишка не врет?

— Нет! — сказал знакомый уже Антошке красногвардеец. — Нет, не врет! Если бы врал, не брался бы с нами идти!

— В открытом бою — одно, хитростью — другое. Можно ли нам, раз наше дело правое...

— Военная хитрость! Ильич любит военной хитростью оставить врага в дураках!.. Пойдемте, ребята. Наши уже окружили, наверное, со всех сторон!

У Антошки облилось теплой кровью сердце. Он повис на чьем-то рукаве:

— Пойдемте, пойдемте, я не вру! А если там юнкер стоит, так я вперед пойду и бутылку ему отдам, а тогда вам скажу...

Кто-то тихо и добродушно смеялся над ним, а кто-то другой ласково трепал его за плечо:

— Ведешь, значит, нас, богатырь?

— Веду!

— Пойдемте, товарищи!

Антошка шел, цепляясь за чужую винтовку. Отряд прошел незаметной тенью к гранитному барьеру Зимней канавки и в тени его дошел до арки дворца. Антошка, размахивая бутылкой, метнулся к подъезду и вернулся назад:

— Никого нет!

Отряд поодиночке прошел к подъезду. Антошку не пустили в дверь:

— Жди здесь или ступай домой: пришибут — мать плакать будет да и мы пожалеем! Ну?

— Я тут подожду. Бутылку покажу им — меня не тронут!

Антошка остался в подъезде.

Выстрелы смолкли. С Невы веял тихий ночной ветерок.

С ним вместе доносился ропот множества голосов. Антошка сел на каменную ступеньку, потом прошелся к подъезду — ждать было нестерпимо.

Тогда крадучись он отворил дверь, оглянул пустой коридор и, плутая по комнатам и коридорам, стал пробираться вперед.

Неожиданно за распахнутой дверью он увидел толпу обезоруженных юнкеров, окруженных солдатами. — Сдались? — взвизгнул Антошка и нырнул в коридор, по которому шныряли вооруженные люди. Их лица были взволнованны, но бодры и веселы.

В огромном зале Антошка вздрогнул от громкого голоса, доносившегося из толпы. Он протискался в плотную стену спин, прислушиваясь. Там, в кругу

рабочих, опиравшихся на винтовки, тот же звонкий голос продолжал:

— Еще раз призываю вас, товарищи, к спокойствию, порядку и революционной дисциплине! Все здесь и всюду — народное достояние! Охраняйте его! Мы взяли власть, мы будем строить новое государство, первое рабочее государство, так проявим же мужество не только в бою, но и в деле строительства новой жизни. Товарищи! На нас смотрит весь мир! Покажем же пример, товарищи!..

Антошка работал локтями, протискиваясь вперед что есть силы. Наконец он вырвался в середину, взглянул в лицо оратора и тогда уже, убедившись, что нашел отца, повис у него на руках.

— Ты откуда?

Речь оборвалась, и круг расступился.

От тишины Антошка растерялся. Он торопливо оглянулся и растерянно шепнул отцу:

— Мамка картошки послала... Картошки...

Он совал ему в руки красный узелок, не зная, что делать. Смешные кончики болтались, как уши струсившего зайца, лезли всем в глаза и заставляли хохотать самого Антошку вместе со всеми.

ЛЕОНИД ЖАРИКОВ

ПАШКА ОГОНЬ

Рассказ

Пашка был в полном смысле пещерным человеком. Он родился и вырос в земле, никогда в жизни не умывался и считал это пустяковым занятием: все равно всюду грязь, угольная пыль, да и воды на руднике нет, а покупать у водовозов по копейке ведро — где наберешься таких денег!

Шахтерская лачуга, в которой прожил Пашка первые тринадцать лет, была вырыта на краю оврага. Входили в нее по ступенькам, как в погреб, да еще надо было пригнуть голову, чтобы не стукнуться лбом о перекошенный дверной косяк. «Пещера, а не жилье», — так сказал бы о Пашкиной землянке всякий человек. Но Пашка любил свою завалюшку-хибарку. Он узнавал ее по высокой трубе с закопченным ведром на макушке. Крыша у землянки была отличная: на обаполы насыпали толстый слой глины — никакой ливень не промочит. А еще цветы росли вокруг трубы — сурепка, полынь и желтые одуванчики. Плохо только, что крыша сравнялась с землей. Один раз какой-то пьяный шахтер заблудился и долго топтался по крыше, кого-то ругая, и целую ночь не давал Пашке спать.

Было еще одно неудобство: чересчур темно, с утра до ночи горел каганец, а от него вечно в носу и в ушах копать. У людей дома, как дома, с окнами, и вот Пашка решил смастерить окошечко. Прокопал под крышей дырку в божий свет и вставил стеклышко. Откуда взялось у Пашки стекло, знала одна темная ночка да оконная рама в конторе владельца шахты. Ему невелик убыток, а Пашке удобство: можно узнать, какая на улице погода — дождик или солнышко светит.

Пашка никогда не жаловался на судьбу, хотя она не баловала его. Пашка был сиротой: отец сгорел в шахте во время взрыва, подняли в клетки обугленное тело, только по жестяному рабочему номерку и опо-

знали отца. Мать с той поры как слегла, так и не подымалась. Старший брат Петр никогда дома не жил, вечно боролся то против царя, то против хозяина шахты, скитался по тюрьмам или воевал на баррикадах в Юзовке.

С малых лет пришлось Пашке идти работать в шахту: надо было кормить больную мать, да и Верка-сестренка, что прожорливый галчонок, — никогда не накормишь.

Пашка не боялся темных сырых подземелий шахты, он был отчаянным по натуре, недаром рудничная ребятня признала его своим верховодом.

Никто не знал, почему прилипло к Пашке прозвище «Огонь». Скорее всего это случилось потому, что нравом он был необуздан и горяч. Была и другая причина: волосы на Пашкиной голове господь бог окрасил в рыжий цвет — чистое пламя. А сам так почернел от угольной пыли, что смахивал на угольную глыбу. Пашка не обижался на свое прозвище, наоборот, любил повторять слова песенки, где говорилось прямо-таки про него:

Шахтер голый, шахтер босый,
Шахтер курит папиросы,
Шахтер богу не родня,
Его бойся, как огня!

Что еще можно было сказать про Пашкино житье-бытье? Ничего веселого: жил, как слепой крот. Если бы не дыра-окошечко, так и порадоваться нечему.

Настоящая жизнь у Пашки началась с первых дней революции. Отобрали углекопы шахту у хозяина фон Граффа, а вместе с ней дом и сад. На рудниках то и дело собирались митинги. Пашка не пропускал ни одного случая, чтобы послушать речи ораторов. Ему нравились громкие новые слова, которых он раньше никогда не слышал. Только тут раскрылись Пашкины глаза, и понял он, что люди на земле разные: богатые живут себе поживают, а бедным есть нечего. Любил Пашка слова нового гимна: «Вставай, проклятьем заклеянный...» Он воспринимал эти слова как прямое обращение к себе: дескать, вставай, Пашка, это ты был проклятьем заклеянный.

Люто возненавидел он богатых, которых теперь рабочие называли буржуями. Ведь сам Пашка, его мать, сестренка Верка были что ни на есть бедные, из бедняков бедняки, из пролетариев пролетарии. Что уж говорить: Пашка ни разу в жизни как следует не наелся. Один только раз на пасху съел чугуна каши, чуть живот не лопнул. Но это было только один раз.

Словом, Пашка принял революцию всей душой, всем своим пламенным пролетарским сердцем!

Все чаще на митингах углекопы говорили, что теперь, после революции, кто был ничем, тот станет всем, кто мучился в землянках, получит большой дом. Пошли слухи, что шахтеров поселят в особняке хозяина шахты, а там одни окна какие: на цыпочки поднимись, руку протяни — и не достанешь до верха. Вон где собирался жить Пашка после революции! Правда, брат Петр, председатель рудничного ревкома, сказал Пашке, что с переездом придется подождать — сначала надо людей устроить, а потом уж и о себе подумать. Но Пашка все же верил, что его черед настанет.

Пашка стал бы дожидаться нового жилья год, даже два, если бы не одна обида, с которой он никак не мог справиться. Дело дошло до того, что трудно было уснуть от обиды: всю ночь метался на драной подстилке — то укутывался с головой тряпичным старым одеялом, то раскрывался — нечем было дышать от злости. И все вот почему.

В двух верстах за рудником, в белокаменном имении помещика Поклонского, разместился буржуйский детский приют. В нем жили дети буржуев, да, да, тех самых буржуев, которые всю жизнь пили Пашкину кровь. Подумать только: для всех революция, для всех свобода и радость, а Пашка должен сидеть в своем погребе, как последняя мышь, и выглядывать в окошечко, выглядывать и помалкивать, а буржуи будут уплетать настоящий белый хлеб, пить молоко и на музыке играть «Боже, царя храни». Да если бы сам товарищ Ленин услышал о таком, он бы весь рудничный ревком распетушил!

Однако Пашка не хотел идти против брата — председателя ревкома, не хотел действовать самолично.

Собрал рудничных ребят, всю шахтерскую голь-голытьбу: закадычного друга Володьку Деда, худолицего подростка Кольку, прозванного Штейгером¹ за то, что боялся шахты, как черт лаdana. Присоединился и Мишка Аршин, сын артельщика. Даже Верка, сестра Пашки, привязалась. Пришло еще не меньше десятка рудничной детворы.

Как полагается, Пашка созвал митинг. Дело происходило во дворе дома Мишки Аршина, за сараем. Пашка произнес речь. Ребятам понравилось, как выступал их вожак. Пашка говорил красиво и непонятно, и эти загадочные слова волновали ребят.

— Граждане юные дети! — заявил Пашка перво-наперво и, ободренный их молчанием, продолжал: — Вперед, на борьбу против буржуев, которые заняли имение и пьют молоко! Прочь пауков, высасывающих из нас и наших отцов... — Пашка хотел употребить привычное слово «кровь», но вспомнил, что уже пользовался им, осекся и сказал неуверенно — ... соки и жилы!

Речь Пашки взбудоражила ребят. Верка ударила себя кулаком в грудь, а сын погибшего в шахте коногона Володька Дед предложил немедленно поджечь буржуйское гнездо.

Но Пашка придерживался порядка в своих действиях: если митинг, значит, должен быть протест. Колька Штейгер немного знал грамоту. Под диктовку Пашки он написал огрызком карандаша на кульке из-под хамсы сердитые слова протеста, и ватага рудничных ребят повалила за Пашкой к ревкому.

Грозный предводитель и атаман Пашка Огонь решительно распахнул двери шахтной конторы, где теперь помещался ревком, и впустил туда свою ораву. Председатель ревкома проводил собрание. На лавках сидели углекопы с черными лицами и руками, должно быть, только что поднявшиеся из недр.

Петр окинул строгим взглядом вошедших ребят и спросил, сердито косясь на Пашку:

— В чем дело, что за гоп-компания? — Он чувствовал, что братишка-сорванец выдумал какую-то новую причуду.

¹ В дореволюционное время так назывались на угольных копях инженеры.

Пашка подошел к столу и положил на видное место протест, написанный на сером кулке.

— Некогда читать! Говори, что случилось?

— Мы протестуем,— объявил Пашка.

— Против чего ты протестуешь?

— Мы требуем, чтобы на нас обратили внимание.— Пашка обернулся к ребятам и воинственно оглядел их, подбадривая друзей, а заодно и себя самого.— Нам обещались, что будет детская коммуна, а теперь ничего нету. Мы живем в душных каморках...

Петр подумал: «Небось опять, мошенник, не подмел «душную каморку» и посуду, наверно, не помыл».

Пашка глотнул воздуха и, не сбавляя резко-протестующего тона, продолжал:

— Томимся в душных каморках, а в Поклонском буржуи едят хлеб и на музыке играют «Боже, царя храни». Как это называется: мы, дети-пролетарии, сидим голодные, а буржуям молоко посылают? Мы требуем освободить имение от издыхающей контрреволюции! — И Пашка снова победно оглянулся на ребят, глаза их блестели, и он догадался, что боевые друзья одобряют слова своего нестигаемого вожака.

— Ты, Пашка, бузу не затевай,— не поднимая головы, недовольно проговорил предревкома. Ему было досадно: работы и так по горло, неотложные дела, а тут отрывают по пустякам — и кто? Собственный братишка-сорвиголова. И, уставший от бессонной ночи, которую пришлось провести в шахте, добывая уголь, председатель ревкома продолжал: — Дети в том приюте нерусские, понятно вам? Их отцы — бельгийцы, англичане, французы — работали у нас в России, а потом убежали с буржуями или убиты при защите власти капитала. По законам революции мы будем защищать этих сирот. Дети не виноваты, они тоже люди и хотят есть.

Но Пашка не сдавался:

— Мы получаем четверть фунта макухи в день, а они едят белые булки! — с негодованием проговорил он.

— И молоко пьют,— пискливо добавила Верка, но, испугавшись сердитого взгляда старшего брата, юркнула за спину Пашки.

— Это еще ничего — молоко! — выкрикнул Колька Штейгер.— Они богу молятся. У них Иисус есть, сам видел!

— Пускай буржуйчики поживут так, как мы живем,— громким голосом предложил Мишка Аршин, самый старший и самый маленький из ребят. За небольшим ростом его и прозвали Аршином. Характер у него был довольно коварный — усвоил привычки отца-артельщика. Он всегда бил по самому больному.

Вот и сейчас с гневом заявил:— Вы только поглядите, как наш Пашка живет, у собаки конура лучше. Зачем же издеваться над человеком?

— Не признаем! — заявил Колька Штейгер.

— Не признаем,— поддержал Пашка, бесстрашно глядя в лицо брату.— Если вы не освободите буржуйское имение, мы сами его освободим.— Тут он вспомнил, как взрослые рабочие говорили на митингах, и добавил: — Своею собственной рукой освободим!

— Значит, вы не подчиняетесь законам пролетарской власти? — сурово спросил Петр.

В спор вступил Володька Дед, прозванный так за сильный голос и густой белый пушок, покрывавший круглое детское лицо. Володька был самым сильным из всех рудничных ребят, он без труда выжимал пудовую гирию и мог побороть самого Пашку, если бы не был по характеру добродушным и безответным. Но сейчас справедливый Пашкин протест задел и его мягкое, незлобивое сердце:

— А почему вы буржуям помогаете? — спросил Володька у председателя ревкома и решительно вытер губы рукавом.

— Да кто вам сказал, что они буржуи? — заметил смеясь один из членов ревкома, углекоп. У него только зубы белели на черном лице, потому что он тоже пришел сюда после работы.

— Буржуи, факт! — выкрикнул Мишка Аршин.— А еще у них генерал есть.

— Какой генерал, что вы, хлопцы, выдумываете? — с усмешкой возразил председатель ревкома.

Но Пашку обмануть было трудно: он сам — и не раз — подкрадывался к помещицкому дому и заглядывал в окна. Видел ребяташек-буржуйчиков, и гене-



рала видел, и видел, как молоко буржуи пьют, и слышал, как на музыке играют «Боже, царя храни». И Пашка сказал:

— Я сам лично видал генерала. У него картуз в золоте и на рукавах золотые полоски.

— Да то, наверно, швейцар.

— И вовсе не швейцар, а русский. Он по-нашему разговаривает, и у него настоящее ружье есть.

— А еще у них мадмазель живет! — выкрикнула Верка из-за спины братишки и добавила: — А генерал глухой.

Председателю ревкома жаль было своих ребят. Вот стоят они перед ним — худосочные, с изможденными, желтыми от голода лицами, немые, почти все босиком, а на дворе уже начались заморозки. У Пашки на ногах рваные чуни, а на голове надето что-то такое, чему и названия не придумаешь, какой-то колпак с дырами, сквозь которые пробивались огненные вихры. Когда-то колпак был картузом, но когда это было, не помнил ни Пашка, ни сам картуз. — Поймите вы, дуры головы, пролетарская гордость не позволяет нам обижать детей других народов. И так говорят про нас буржуи, что рабочие только способны грабить и никогда не смогут создать рабоче-крестьянское государство. Но мы создадим его, построим новую жизнь, и в ней будет счастье для всех людей, особенно для вас, ребяташек.

— Спасибо! — решительно возразил Пашка. — Спасибо на добром слове: нам уже обещали коммуны. Мы требуем убрать буржуйчиков из имения, иначе мы сами освободим буржуйский дом... своею собственной рукой!

Гнев его был так силен, что требовал таких же сильных слов. Сама неопалимая Пашкина правда требовала слов необыкновенных. И Пашка обернувшись к своим, спросил грозно:

— Правильно я говорю про буржуев?

— Верно! Правильно!

Улыбка сошла с лица председателя ревкома.

— Идите, хлопцы, по домам и не бузите. А то я потцовски надаю вам подзатыльников. Потерпите, дайте с делами разделаться — создадим вам коммуны.

А детей заграничных трогать запрещаю, строго-на-строго запрещаю. Мы с детьми не воюем, наоборот, мы будем их защищать!

Пашка сорвал с головы свой колпак и так хватил им об пол, что пыль взметнулась.

— А мы не согласны! Они будут на музыке играть, а мы голодные. А ну, хлопцы, айда за мной!

И пошел Пашка против брата, но совесть его была чиста: не за себя восстал он, а за тех бедняков, что проклятем заклеянные, за слабосильного Кольку Штейгера, который недавно стал сиротой и живет в такой же, как Пашка, землянке, всегда голодный и холодный, за родную мать, что лежит прикованная к постели и только смотрит со слезами на глазах, как Пашка кормит Верку тюрей: покрошит в соленую воду запыленный сухарик и гоняет его ложкой по миске.

Нет, Пашка не мог больше тратить времени зря. Он приказал всем вооружиться, и уже через каких-нибудь полчаса его войско собралось на дне Вшивой балки. Мишка Аршин успел сбежать на соседнюю шахту и привести еще человек восемь отчаянных ребят.

Отряд принял грозный вид. У Володьки Деда висел на ремешке тяжелый кистень — дубинка с шишаком, утыканным гвоздями. У Кольки Штейгера из-за пояса выглядывал ржавый меч-секира. У Верки в руках была кочережка, а у самого Пашки — грозное шахтерское оружие — обушок.

Ребята исподволь любовались своим предводителем. Крепкий, скуластый, с упрямыми нахмуренными бровями, в широченных штанах, причем одна штанина засучена до колена, а другая болталась. Вожака в нем выдавала твердая командирская нотка, привычка приказывать. И не беда, что из-под колпака торчали большие уши, точно ручки от кастрюли, зато грудь нараспашку, несмотря на холод, а на груди не было крестика, как в проклятые царские времена.

Пашка приказал Верке взять в сундуке у матери красный лоскут — надо же знамя! Колька Штейгер написал на красном флаге под диктовку Пашки: «Прочь, вампиры,— юный пролетарий идет!»

Скоро отряд выступил в боевой поход. В степной дали виднелся помещичий особняк с белыми колоннами. Держитесь, буржуйчики, пошел на вас сам Пашка Огонь!

На подступах к особняку Пашка приказал рассыпаться в цепь и, укрываясь, кто за чем может, приближаться к неприятельской крепости. Правда, крепость выглядела мирно: нигде не было слышно голосов, словно жители ее спали или, чего хуже, молились богу, как в тот раз, когда Пашка заглянул к ним в окно. «Если так, тем лучше», — решил Пашка и тихим свистом подал сигнал: ползком окружать буржуйское укрепление.

Пашка знал, что в помещичьем доме, кроме буржуйских детей, живет высокая тетка в очках на носу. Пашка называл ее про себя таранкой. Потом пригодились Веркино слово — мадмазель. Так сложилось прозвище «Мадмазель Таранка». Больше всего беспокоил Пашку генерал, у которого имелось ружье. Как бы не застрелил кого-нибудь из ребячьего войска. О себе Пашка не беспокоился. Он не боялся ни бога, ни черта.

Пашка полз впереди всех. За ним, путаясь в длинной юбке до пят, ерзала по земле животом Верка со знаменем в руке. На ее лице было столько ответственности, что глаза таращились, а рот открылся, точно душло.

Пашка обдумывал план атаки. Он передал по цепи, чтобы правое крыло под водительством Володьки Деда пробивалось в дом через парадную дверь. Левое крыло, которым командовал Аршин, должно было окружить дом со двора — там тоже была дверь. Сам Пашка выбрал себе наиболее опасный и трудный путь: ворваться в крепость через окно. Но когда до имени оставалось не более десяти шагов, Пашка не смог сдержать азарта и, ломая все планы атаки, закричал «ура!» и первым бросился к парадной двери. Ребячье войско, сбитое с толку неожиданным маневром командира, вразнобой бросилось за ним, разногласно горлая.

Пашка с ходу рванул парадную дверь, но она оказалась на запоре. Тогда он бросился к самому крайнему от двери окну и с размаху обушком ахнул

по раме. Пашкины воины камнями и палками разбивали другие окна, зазвенели стекла, запищали и заплакали в доме детишки, но ничто не остановило продвижения ребячьей шахтерской армии в глубь вражеской территории.

К счастью, высокие барские окна не были закрыты изнутри ставнями, и Пашка, разбив одну раму, вскарабкался на подоконник и проник в дом.

Мадмазель Таранка, окруженная визжащими ребятишками, кинулась спасаться. Она заскочила в одну из комнат и заперлась там вместе с перепуганными насмерть сиротами. Только что стояли они на молитве перед распятием Иисуса. Никто из них так и не успел сообразить, что же произошло: лишь видели, как в разбитом окне появилось какое-то черное чучело со свирепо выпученными глазами, а за ним другие, не менее страшные рожи. Может быть, это явился сам Сатана, против которого они только что творили мирную молитву. Они едва успели забежать в комнату, как Сатана спрыгнул с высокого подоконника на пол, а за ним, как горох, посыпались отовсюду чертенята, вооруженные бог знает чем. Дети, перепугавшись, вцепились в юбку своей воспитательницы и не знали, не ведали, какой тарарам поднялся в их доме.

Пашка обрушился со своим воинством на барское имение, как грозная пролетарская кара, как ураган. За какую-нибудь минуту-две особняк был взят штурмом.

Пашка проявил себя неплохим полководцем, он знал, что перво-наперво нужно уничтожить главные силы противника, бородатого генерала с ружьем, который в это время подметал веником коридор. Пашка налетел на старика, свалил его на пол, скрутил руки назад, а Мишка Аршин уселся на грудь генерала и, вцепившись левой рукой в горло, правой с натугой втискивал ему в рот кляп из фуражки с золотыми позументами.

— Та що вы робите, босота несчастна?! — хрипел генерал, вырываясь и мотая головой.

Но Пашка крепко держал его. У Пашки давно копилась против генерала злость, и врагу не было пощады. Так и бросили его ребята на полу у двери, со связанными за спиной руками. Изо рта у генера-

ла торчал скомканный золоченый картуз, как будто старик жевал его, жевал, да не мог справиться — заморился.

По всем военным правилам Пашка выставил на крыше дома дозор. Часовому сказал:

— Стой и смотри! Если кто будет приближаться к дому, дай сигнал, — а сам кинулся искать Мадмазель Таранку. — Бей их, где они тут заховались! — кричал он.

Мишка Аршин подбежал к двери, за которой укрывались дети и Таранка, загрохотал кулаками, заорал:

— Вылезай, буржуи, всех перебьем!

Но тут ребята увидели на стене огромную, от пола до потолка, картину, изображавшую царя Николая II. Верка первой кинулась к портрету, но не могла свалить. Ей помог Володька Дед, а потом и Коляка Штейгер. Когда золоченая рама с царем грохнула на пол, Пашка наступил на портрет ногой и стал выдирать царя. Подбежала Верка, прыгнула на портрет. Они вмиг растерзали царя на части так, что на одном куске оказались сапоги царя, на другом — половина лица с ухом, а на третьем — усы и грудь в медалях. — Бей, ломай, не жалей буржуйское добро! — командовал Пашка и замахнулся было обушком на высокое красивое зеркало, собираясь садануть по нему так, чтобы осколки брызнули по сторонам, но вдруг замер с занесенным обушком: первый раз в жизни он увидел свое отражение и оторопел, глядел как замороженный и не мог оторвать взгляда, узнавал и не узнавал самого себя. Так вот, значит, какой он есть! Чудно — глядит из зеркала чумазая рожа. Сам не зная почему, Пашка вдруг застыдился самого себя, медленным движением снял колпак, не спеша вытер им страшное свое рыло, но оно не стало чище. И как-то вдруг все перевернулось в душе, потух азарт, и Пашка впервые вспомнил о том, где он и зачем сюда пришел. Перепугал людей, побил стекла, учинил разгром, а зачем?..

Как — зачем? Пашка растерялся только на мгновение. Он увидел, как Верка стащила кочережкой с подставки бронзовое распятие Иисуса, и закричал одобряя: — Правильно, Верка, чего они тут, буржуи, богу молятся!

— Пашка! — звал из соседней комнаты Мишка Аршин. — Я ихнюю музыку нашел!

Пашка побежал туда и увидел черный блестящий ящик на пузатых точеных тумбах. Ребята называли его роялем.

— Вот послушай! — и Мишка принялся лупить кулаками по белым, как зубы, клавишам, отчего рояль рокотал басом. — Громи буржуйскую музыку! — и Мишка Аршин размахнулся, чтобы ударить по блестящей крышке рояля, но Пашка остановил его:

— Не трожь!

Хрустя осколками битого стекла, Пашка ходил по барским хоромам, как грозный завоеватель. В первую очередь ребята реквизировали продукты: в судке на кухне обнаружили остаток молока, и ребята велели Верке допить его. В кулке на полке нашли крупу. Володька Дед сунул кулек в карман, но, когда бегал по ступенькам лестницы, крупа высыпалась на ковровые дорожки тоненькой струйкой.

Больше всего они обрадовались хлебу. Тут же разломили его на куски и стали жевать с жадностью. Колька Штейгер притащил откуда-то банку с маслом и, хотя оно не очень хорошо пахло, макал хлеб и причмокивал от удовольствия.

Когда были изъяты продукты, Пашкины воины, притихшие, с величайшим изумлением на грязных лицах, бродили по гулким коридорам и залам, где стояли золоченые стулья с мягкими сиденьями. Со стен смотрели на них картины: какие-то дядьки тянули на веревках пароход по реке, на другой картине генерал сидел на коне, вздыбив его как свечку. Поражались ребята беломраморным человеческим фигурам, стоявшим по углам. Фигуры были красивее тех грубо обтесанных каменных баб, которых часто находили ребята на степных курганах вблизи рудника. Правда, здесь уже кто-то побывал до Пашки, потому что у одной каменной статуи были отбиты руки, но все равно невозможно было оторвать от фигуры глаз — она казалась живой.

Задержались ребята возле большого кувшина, расписанного цветами. По бокам у него торчали круглые ручки, а горло узкое, как у гуса.

- Зачем такой горшок?
- Как зачем? Пить.
- Чего пить?
- Воду.
- Тю, столько разве выпьешь: живот лопнет.
- У буржуев не лопнет,— сказал Пашка,— у буржуев животы вот какие,— и Пашка широко развел руки.

Забрели ребята в какую-то темную комнату и с величайшим недоумением рассматривали круглую белую посудину, над которой висел на стене такой же белый ящик с длинной цепочкой и ручкой на конце.

- Чегой-то? — шепотом спросил Володька.

Ребята молчали. Никто не знал, зачем здесь эта посудина. Но вот кто-то потянул за цепочку, и вода с шумом полилась в чашу. Тогда Пашка почему-то замялся и сказал:

- Пошли отсюда, нечего тут делать.

Дни поздней осени коротки, и вот уже за вечерело. Ни Пашка, ни его преданные воины не заметили, как за окнами постепенно темнело. Ребята ходили по бело-мраморным лестницам степного дворца, по его голубым, золотистым и красным залам, где на окнах висели бархатные портьеры, а на полу постланы ковры. Ребят поразила незнакомая жизнь, и порой им казалось, что они очутились в сказке.

Пашка, очарованный красотой картин и статуй, мебели и ковров, совсем забыл, что пришел сюда с огнем и мечом, пришел карать и наказывать, заставить буржуев стать перед ним на колени. А буржуи спрятались под кроватями, выглядывая оттуда испуганными глазенками. Пашке уже не хотелось, чтобы перед ним становились на колени, он уже насытился победой. И когда Колька Штейгер, проходя мимо двери, за которой спрятались буржуйчики, забарабанил в нее кулаком, Пашка сказал:

- Не трогай, нехай сидят. И так набрались страху, гляди, пора штаны стирать.

А в это время в комнате плохо понимавшие по-русски дети горько плакали, сгрудившись вокруг Мадмазель Таранки. Кто был посмелее, тот на цыпочках подкрадывался к двери и подглядывал в замочную скважину, стараясь понять, что делают грозные

завоеватели. Но те уже ничего не разбивали, просто ходили по коридорам, тихо переговариваясь.

Когда стемнело, с крыши по пожарной лестнице спустился Пашкин часовой и доложил, что со стороны села через овраг движутся к дому какие-то люди с топорами и на бричках, запряженных лошадьми. Часовой добавил, что он заметил этих людей еще перед сумерками, и ему показалось подозрительным, что они прятались в балке, о чем-то сговаривались и указывали пальцами на помещичий дом.

Часовой рапортовал Пашке в коридоре, где лежал на полу и уже, наверно, отдохнул хорошенько, а может, и соснул часок-другой поверженный генерал. Пашка обратил внимание, что тот, услышав тревожное сообщение часового, стал бурно обнаруживать признаки жизни: мычал, мотал головой и вращал белками глаз, давая понять, что хочет что-то сказать.

Пашка велел развязать генерала, и, когда ребята освободили деду затекшие руки и вынули изо рта кляп, старик, заикаясь и картавя, сказал, что нужно поскорее закрыть двери и окна, что это наверняка едут сельские кулаки грабить имение — они уже не первый раз пытаются это сделать и являются к дому по ночам, пугая детей и грозя расправой старику и воспитательнице. Главарем у них какой-то Микола Чирва, лютый человек.

Некоторое время Пашка молчал, озадаченный словами старика. Потом вспомнил, как брат Петр рассказывал, что кулаки нередко опустошали отобранные у богачей дома, убивая тех, кто охранял добро.

Пашка, а за ним Володька Дед мигом влезли на чердак и, увидев деревенские брички в балке, поняли, что старик был прав.

Бандиты приближались к дому.

Когда ребята спустились вниз, старик уже запер на крючки все двери в доме, закрыл ставни в окнах. Но Пашка понимал: окна без стекол, хотя и со ставнями, — плохая защита. Он приказал забросать окна подушками и матрацами, завалить мебелью. Закипела работа, и едва успели подпереть ставни стульями, загроздить подоконники коврами, одеялами и матрацами, как во дворе послышались чужие голоса, топот ног и в дверь грубо постучали.

Пашка притаился за дверью рядом со стариком, который принес свое ружье и передал Пашке. На стук никто не отзывался. В дверь загрохотали громче.

— Чего надо? — спросил Пашка, стараясь придать голосу грубоватость для устрашения.

— Открывай! Кто в доме есть?

И тогда Пашка ответил за всех:

— Уходите отсюда, тут проживают международные дети!

— Открывай, паскуда!

Пашку задела столь грубая форма обращения. Он ответил:

— Постучи, постучи, а мы не откроем, — и велел ребятам сносить к двери столы, скамейки, кресла. Ребята приволокли даже зеркало и свалили его на баррикаду.

А со двора барабанили сильнее.

— Открывай, а то будем двери рубать!

— Только сунься, гад, — сказал Пашка и кляцнул ружьем, переломив стволы, чтобы зарядить их.

Пашка понимал, что с бандитами, вооруженными топорами, шутки плохи. Надо было направить посланца на рудник, и он велел Мишке Аршину, как самому маленькому, выскочить незаметно из дома и мчаться во весь опор в ревком.

После угроз и окриков за дверью притихли, должно быть, готовились к штурму, позванивало лезвие топора, и вдруг раздался треск: бандиты принялись рубить створки дверей.

— Руби веселей! — закричал кто-то из бандитов.

Мадмазель Таранка, услышав шум и треск, тотчас догадалась: в дом пришли настоящие грабители, те, что пугали ее в темные осенние ночи. Опасность была гораздо серьезней той, что произошла утром, когда в дом ворвались какие-то мальчишки. Поняли это и маленькие жители детского приюта. Тут-то и поднялся истинно горький плач. Мадмазель Таранка в отчаянии металась по комнате, ломая руки, не зная, что делать. Она проклинала судьбу, что забросила ее в эту варварскую страну — Россию, и нет ей, несчастной женщине, ни минуты покоя, и не у кого просить защиты.

Все же она взяла себя в руки, поняв, что сидеть взаперти в столь опасную минуту нельзя. Она решила

выйти из своего укрытия, сначала приоткрыла дверь и высунула голову, потом вышла сама. Ребятишки потянулись за ней, вцепившись со всех сторон в ее длинное строгое платье.

Пашка тотчас увидел их. Он продолжал командовать, а сам искоса глядел на перепуганных чужеземных ребятишек, которые уже не со страхом, а с мольбой и надеждой взглядывали на него, своего спасителя. Пашке стало жаль малышей, и он почувствовал ответственность за их маленькие жизни.

Мадмазель Таранка, встревоженная, испуганная, подбежала к Пашке. Она поняла, что он и есть старший, колы руководит обороной.

— Мсье, мсье,— говорила она и трогала Пашку за рукав. Виногато улыбаясь, она поглядывала на ребят, как бы спрашивая, как зовут этого отважного юношу.

Кто-то догадался и подсказал:

— Пашкой его зовут.

Мадмазель Таранка коснулась тонкой рукой Пашкиного плеча:

— Мсье Пашка, мсье Пашка...

Она силилась что-то подсказать, сыпала непонятной французской речью, и Пашке надоело.

— Переведи ребятишек в подвал,— скомандовал он и строго спросил у Мадмазель Таранки: — Подвал у вас есть?

Но та не поняла и опять залопотала по-своему. Пашка махнул рукой.

Бандиты стали ломиться и в другую дверь, со двора. — Открывай, душу вытрясем! — гремел за дверью голос, и Пашка догадался, что это кричит сам Чирва, главный бандюга.

Потом послышался их разговор:

— Микола, они оттуда двери подперли.

— А ты рубай! — и с новой яростью застучали по дверям топоры.

Приютские ребятишки заплакали еще громче, и Пашка растерялся, не зная, как успокоить малышей. — А ну, не распускать слюни! — прикрикнул он. — Таскайте мебель!

Грозный окрик подействовал на детишек. Они дружно, как муравьи, принялись таскать к дверям кто стул, кто одеяло, кто красивый кувшин, расписан-

ный цветами, и складывали в кучу. Вот уже целая гора вещей выросла у двери, едва не достигая потолка. На самой верхотуре стоял Володька Дед и принимал, что ему подавали.

Пашка тоже взобрался наверх и оттуда крикнул в прорубленную бандитами щель:

— Эй, уходите, а то стрелять буду!

— Мы из тебя сейчас котлету сделаем,— раздался в ответ сиплый голос.

Пашка выставил дуло стариковской берданки и выстрелил в темноту. За дверью послышался разговор:

— Микола, они стреляют.

— А ну, подавай солому, мы их зараз поджарим.

Уже была изрублена в щепы одна створка двери, трещали петли на второй, но вход надежно преграждала баррикада. Иногда она, сотрясаясь от ударов, начинала шататься. Казалось, вот-вот рухнет героическая Пашкина оборона, бандиты ворвутся в дом, но Пашка держался крепко.

Бандиты были взбешены, а может быть, они чувствовали, что со стороны рудника придет помощь осажденным, поэтому торопились взломать двери и проникнуть в дом.

Горстка ребят, осажденных в детском приюте, стойко оборонялась от наседавших грабителей. Вдруг затрещала ставня, и в окне показался усатый бандит в капелюхе, может быть, сам Чирва. Володька Дед подхватил медного Иисуса и метнул им в грабителя. Пашка разрядил в бандита второй патрон. Тот упал; зазвенел оброненный топор.

Вслед за первым налетчиком показался второй. Он прыгнул с подоконника и, прежде чем Пашка успел зарядить ружье, рубанул его топором по плечу. Верка закричала, а Володька Дед выхватил у нее кочережку и, крикнув, ударил бандита по затылку. Тот склонился на колено, обхватив голову руками, и медленно свалился на пол.

А Пашка Огонь лежал среди разбросанных обломков мебели, обливаясь кровью. Он зажимал рукой рану, но кровь сочилась сквозь пальцы, текла по разорванному рукаву.

Упал боевой дух защитников. Малыши при виде крови в ужасе разбежались. Мадмазель Таранка сло-

жила руки на груди и приготовилась принять смерть. Но бандиты почему-то молчали, прекратили штурм дома. Вдали слышалась перестрелка. В разбитом окне показался Мишка Аршин и радостно закричал:

— Хлопцы, выходите, наши пришли!

Немало времени и труда потребовалось отряду красногвардейцев, чтобы разобрать баррикаду и войти в дом.

Председатель ревкома стоял над раненым братишкой, окруженный приютскими детьми. Разговаривая каждый на своем языке, малыши плакали, но уже не от страха, а от жалости к благородному и грозному своему защитнику — мсье Пашке.

А он, шахтерский сын, лежал бледный от потери крови. Мадмазель Таранка примчалась с пузырьком йода, с бинтом, опустилась перед ним на колени и, осторожно перевязывая рану, лопотала что-то по-французски матерински-ласковое. Может быть, она восхищалась Пашкиной волей или выражала удивление — почему этот бедный русский мальчик шел на смерть за них, совсем чужих ему людей? А может быть, она разговаривала с собой и уже не ругала «варварскую страну» Россию, а благодарила ее... Кто знает, что говорила воспитательница детского приюта, только, закончив перевязку, она склонилась над Пашкой и легонько погладила теплой ладонью его высокий бледный лоб.

Пашка лежал, закрыв глаза, а доблестное его воинство, изорвавшее в бою и без того драную одежонку, стояло над своим командиром в молчаливой верности. — Расстелите на полу шинель, понесем на руках, — сурово проговорил Петр.

Пашка открыл глаза, поглядел на всхлипывающую Верку, на столпившихся приютских ребятишек, узнал брата и глубоко вздохнул:

— Петро, ты им здесь коммуну сделай, — сказал Пашка, передохнул и продолжал: — Коммуну устрой международным детям, чтобы они больше не играли на музыке «Боже, царя храни».

НАХАЛЕНОК

Рассказ

Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит:

— А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, откель ноги растут!..

— За что, дедуня? — спрашивает Мишка.

— А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!..

— Дедуня, я нынешний год не катался на каруселях! — в страхе кричит Мишка.

Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:

— Ложись, постреленыш, и спущай портки!..

Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостины отпробовал. Чуть-чуть открыл левый глаз — в хате светло. Утренняя зорька теплится за окном. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-бу-бу...»

Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на пасху когда приходил он, дед так же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на шее у него висит, воеет.

Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как гаркнет:

— А где мое потомство?

Мишка струхнул, под одеяло забрался.

— Мйнюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел! — кричит мамка.

Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими усами не на шутку колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырывается, да не тут-то было.

— Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку перерастет!.. Го-го-го!.. — кричит батянька и знай себе пестает Мишку — то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекадаины подкидывает.

Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился.

— Пусти, батянька!

— Ан вот не пущу!

— Пусти! Я уже большой, а ты меня, как детенка, нянчишь!...

Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает улыбаясь:

— Сколько ж тебе лет, пистолет?

— Восьмой идет, — поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.

— А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?

— Помню!.. — крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею.

Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:

— Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе, варнак этакий! — И отца просит: — Пусти его, Фома Акимыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним занимаешься!

Ссадил Мишку отец на пол и говорит:

— Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостинцев дам.

Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел

батянька,— и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду.

Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька — попов сынок.

— Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.

Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плече помочь и нехотя сказал: — Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дуже!..

Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку:

— Это от золотухи, а ты — мужик, и тебя мать под забором родила!..

— А ты видал?

— Я слышал, как наша кухарка рассказывала мамочке.

Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз.

— Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал, а твой — кровожад и чужие пироги трескает!

— Нахаленок!.. — кривя губы, крикнул попович.

Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:

— Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?

Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:

— Мне батянька лучшей твоего с войны принес!

— Вре-ошь? — недоверчиво протянул Витька.

— Сам врешь!.. Раз говорю — принес, значит — принес!.. И заправское ружье...

— Подумаешь, какой ты стал богатый! — завистливо усмехнулся Витька.

— И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.

Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот.

— А мой папочка скоро будет архиереем, а твой был пастухом. Ага, что?..

Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:

— Миша, Миша, я что-то скажу тебе!

— Говори.

— Подойди ко мне!..

Мишка подошел и подозрительно скосился:

— Ну, говори!

Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:

— Твой отец — коммуняка! Вот как только помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет: «За то, что твой отец был коммунистом, — отправляйся в ад!..» И начнут тебя там черти на сковородках поджаривать!..

— А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?

— Мой папочка — священник!.. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь...

Мишке стало страшно. Повернулся и молча побегал домой.

У огородного плетня остановился, крикнул, грозя поповичу кулаком:

— Вот спрошу у дедушки. Коли брешь — не ходи мимо нашего двора!

Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, и на ней его, Мишку, жарят... Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, спросить...

Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка — выручать: попробовал калитку открыть — свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчит так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил — глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит: — Подойди ко мне, голубь мой!

Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про адскую сковородку вспомнил и — рысью к деду.

— Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?

— Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места да хворостиной высушу!.. Ах ты, лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?..

Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать: — Поди на своего умника полюбуйся!

Выскочила мать.

— За что ты его?

— Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..

— Это он на супоросной свинье катался? — ахнула мать.

Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол и при этом очень строго говорил:

— Не езд на свинье!.. Не езд!..

Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:

— Значит, ты, сукин кот, не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь?

Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой — не достал. Подхватила мать Мишку — в хату толкнула:

— Сиди тут, сто чертов твоей матери!.. Я до тебя доберусь — не по-дедовски шкуру спущу!..

Дед на кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает.

Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:

— Ну, дедунюшка... попомни!

— Ты что ж это, поганец, деду грозишь?

Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.

— Значит, ты мне грозишь? — переспрашивает дед. Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:

— погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!

Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина го-

лова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка.

■ Для отца он — Минька. Для матери Минюшка.

Для деда — в ласковую минуту — постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза, — эй, Михайло Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!

А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы — Мишка и Нахаленок.

Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купанья в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорош колченогенький Мишка — глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда.

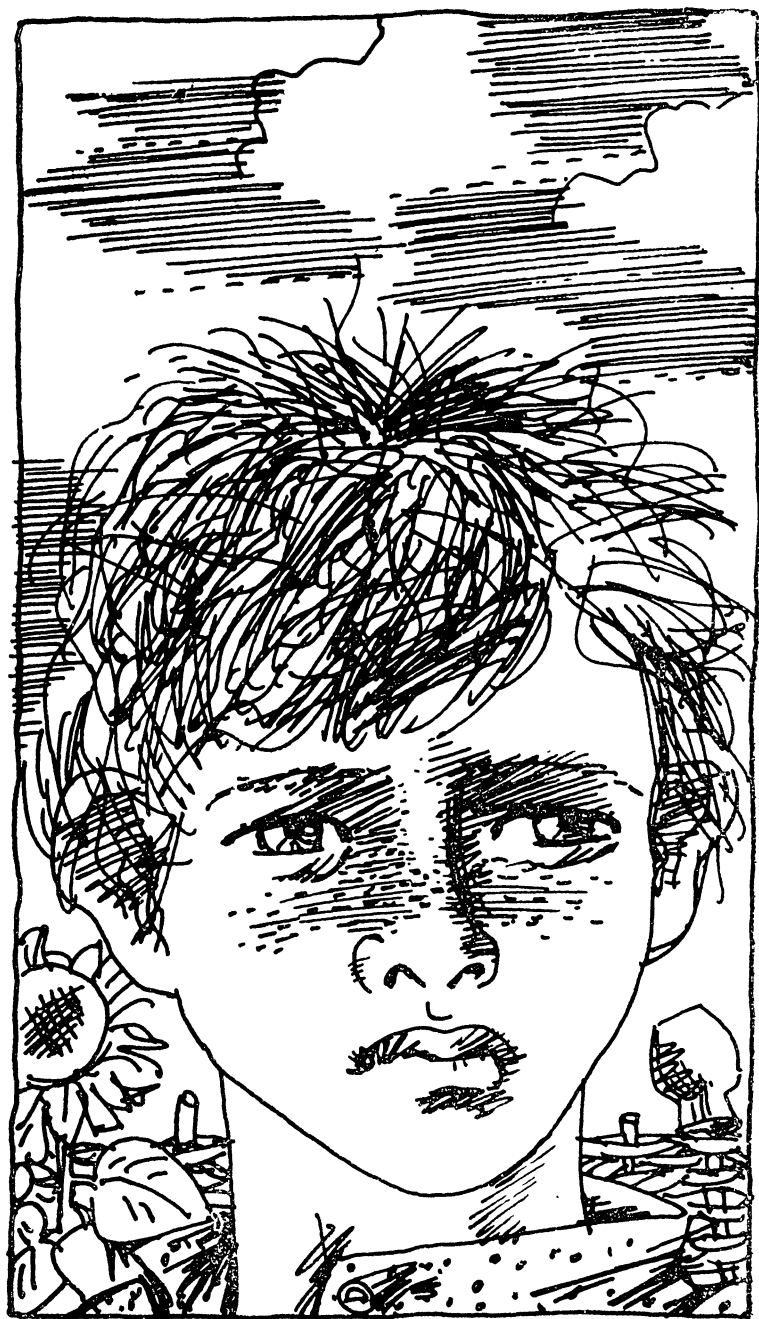
Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый-престарый, зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки.

На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор.

Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает. Подозвал Мишку:

— Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала, должно, яйцо обронила.

Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается — не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, побряхтывает. Не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и больно стучаясь головой о перекладины, дополз до конца.



— Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут нестись? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут полозишь, постреленыш?

Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на пруд, увидел Мишку и рукой махнул...

Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:

— Твой батянька на войне был?

— Был.

— А что он там делал?

— Известно что — воевал!..

— Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!.

Захотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глазах, а тут еще Витька-попович больно задел его.

— А твой отец коммунист?..— спрашивает.

— Не знаю...

— Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать!..

Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать — за что? Крепко сжал зубы и сказал:

— У батяньки большеющее ружье, и он всех буржуев поубивает!

Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:

— Руки у него коротки! Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает!..

Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул:

— А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, и отец сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого убью!..»

Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:

— Бейте его, ребята, что смотреть?!

— Бей коммунячьего сына!..

— Нахаленок!..

— Звездани его, Прощка!

Прощка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу, Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь грузно шлепнулся на песок.

Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот.

Мишка, страхнув с себя Прощку, вскочил и, вилля по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали.

Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.

Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько побрел во двор.

Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку, спросил шепотом:

— Батя, ты на войне что делал?

Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:

— Воевал, сыночек!

— А ребята... ребята гутарят, что ты там только вшей убивал!..

Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки.

— Брешут они, мой родный! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать.

— С кем ты воевал?

— С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.

Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку:

Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!
Не ходи ты на войну, нехай батько иде.
Батько — старенький, на свити нажився...
А ты — молоденький, та й ще не женився...

Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся — оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой.

— Ты мне сейчас не мешай, Минька — сказал отец, — я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь, и я тебе про войну все расскажу!

■ День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и с почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка.

Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка вьюном около нее крутится.

— Скоро вечерять будем?

— Успеешь, непоседа, оголодал!..

Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб — и он за ней, мать на кухню — и он следом. Пиявкой присосался, за подол уцепился, волочитя.

— Ма-а-амка!.. Ско-реича вечерять!..

— Да отвяжись ты, короста липучая... Жрать захотел — взял кусок и лопай!

А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог.

За ужином кое-как наспех поглотал хлёбова и — опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и ждет, когда придет батянька про войну рассказывать.

Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову: дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол — стук!.. А Мишка локтем в стену — бух!..

Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стучает. Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке:

— Я тебе, окаянный, прости, господи!.. Постучи у меня, я те стукну!

Быть бы драке, но в горницу вошел отец.

— Ты зачем же, Мишка, тут лег? — спрашивает.

— Я с маманькой сплю.

Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал:

— А я тебе в горнице с дедом постелил...

— Я с дедом не ляжу!..

— Это почему ж?..

— У него от усов табаком дюже воняет!

Отец опять покрутил усы и вздохнул:

— Нет, сынок, ты уж ложись с дедом...

Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал:

— Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нынче... Ложись ты с дедом!

Сел на кровати и, обхватив руками отцову голову, прошептал:

— Ты ложись с дедом, а то маманька с тобой, должно быть, не будет спать! От тебя тоже табаком воняет!

— Ну, ладно, ляжу с дедом, а про войну рассказывать не буду.

Отец поднялся и пошел в кухню.

— Батянька!

— Ну?

— Ложись уж тут... — вздыхая, сказал Мишка и встал. — А про войну расскажешь?

— Расскажу.

Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую сигарку.

— Видишь, оно какое дело было... Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?..

Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна и — в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые черноусые колосья щекочат лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:

— Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..

Батянька помолчал и сказал, глядя Мишку по голове: — А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган? Хлеб наш там был...

И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо и по запыленным щекам его скупно текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него...

Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:

— Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб?

Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:

— Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу...

...Отец придвинул скамью ближе, заговорил:

— Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда... Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду били... А потом объявились большевики, и старшой у них — по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «Что вы, — говорят, — мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все — ваше!...»

Вот этими словами и придавили они нас. Пораскинули мы умишками — верно. Отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья, заштитинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной... Понял, сынок?

А тот самый Ленин — старшой у большевиков — народ поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих и ну наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозы-

ваться Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие и горниц так много, что заплутаться можно.

Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нишет... Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково: — Не холодно вам, товарищ?

А я ему и говорю:

— Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!..

Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом пошел потихоньку к воротам.

Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев.

— Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом солдате сердцем хворал... После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:

— Так не сломят нас буржуи?

— В носе у них не кругло, товарищ Ленин! — бывало, скажу ему.

По его слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали, а богатеев — кровососов наших — побоку!.. Вырастешь — не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру, и Ленин помрет, а дело наше до веку живо будет!.. Когда вырастешь — будешь воевать за Советскую власть, как твой батяня воевал?

— Буду! — крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.

Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу.

На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке — Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки,— потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил.

Не успел уснуть, увидел во сне город: улицы широкие, куры в просыпанной золе купаются; на что в станице их многое множество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь, как отец рассказывал: большущая хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась.

Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг, откуда ни возьмись, шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубаше. — Ты, Мишка, почему без делов шляешься? — спрашивает он очень ласково.

— Меня дедуня пустил поиграть,— отвечает Мишка.

— А ты знаешь, кто я такой?

— Нет, не знаю...

— Я — товарищ Ленин!..

У Мишки от страха колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубаше взял его, Мишку, за рукав и говорит:

— Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в мое войско не поступаешь?..

— Меня дедуня не пускает!..— оправдывается Мишка.

— Ну, как хочешь,— говорит товарищ Ленин,— а без тебя у меня — неуправка! Должон ты ко мне в войско вступить, и шабаш!..

Мишка взял его за руку и сказал очень твердо: — Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступишь!..

— Обязательно заступлюсь! — сказал товарищ Ленин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть; хочет он что-то крикнуть — язык присох...

Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся.

Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровавистой пеной клубятся плывущие с востока облака. ■ С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.

В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низенького человека в шинели и с кожаным голенищем под мышкой. Подозвал деда, сказал:

— Вот привел к вам на хватуру товарища советского сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерять, дедушка.

— Оно, конечно, мы не прочь, — сказал дед. — А мандаты у вас имеются, господин товарищ?

Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать.

— Есть, дедушка, все есть! — улыбнулся человек с кожаным голенищем и пошел в горницу.

Дед за ним, а Мишка за дедом.

— Вы по каким же делам к нам прибыли? — дорогой спросил дед.

— Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов Совета.

Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом, чужак расстегнул кожаное голенище, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает:

— Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин!

Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубаше, а в пиджаке. Одна рука в штанах, в карман засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал; крепко, навовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил.

Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок голенище и пошел спать. Уже разделся,

лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:

— Кто это?

По полу шлепают чьи-то босые ноги.

— Кто там? — спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку.

— Тебе чего, малыш?

Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:

— Ты, дяденька, вот чего... ты... отдай мне Ленина!..

Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него.

Страх охватил Мишку: ну, как закусится и не даст? Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:

— Ты мне отдай его наовсе, а я тебе... я тебе подарю жестяную коробку хорошую и ишо отдам все как есть бабки, и... — Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: — И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!

— А зачем тебе Ленин? — улыбаясь спросил чужак.

«Не даст!..» — мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:

— Значит, надо!

Чужак засмеялся, достал из-под подушки голенище и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и — рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает:

— Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе не пей на ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помочись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе без надобности!

Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.

Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:

— Что тебя лихоманец мучает! Это зачем в такую рань поднялся?

Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно, под амбар юркнул.

Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, пыль и куриный помет разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.

С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки ручьи.

Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым, народу полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам.

Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.

— Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем? Прошу поднять руки!

Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул:

— Граждане!.. Прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!..

Мишка увидел, как Федот-сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками:

— Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за Советскую власть...

Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затоптали ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.

— Не нужен пастух!

— Пришел со службы — нехай к миру в пастухи принимается!..

— К черту Фому Коршунова!

Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него.

— Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять! — орал чужак, грохая по столу кулаком.

- Своего человека из казаков выберем!..
- Не нужен!..
- Не хо-о-тим... — шумели казаки, и пуще всех Прохор, зять лавочника.

Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном, заплатанном пиджаке вскочил на скамью: — Братцы!.. Вон оно, куда дело заворачивает!.. Нахрапом желают богатеи посадить в председатели своего человека!.. А там опять...

Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:

- Землю... переделы... бедноте суглинок... чернозем заберут себе...

— Прохора в председатели! — гудели около дверей.

- Про-о-хо-ра!.. Го-го-го!.. Га-га-га!..

Насилу угомонились. Чужак, хмуря брови и брызгаясь слюной, долго что-то выкрикивал.

«Должно, ругается», — подумал Мишка.

Чужак громко спросил:

- Кто за Фому Коршунова?

Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал:

- Шестьдесят три... шестьдесят четыре, — не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул: — шестьдесят пять!

Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:

- Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять!

Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул сверху вниз и больно ухватил его за ухо.

- Ах ты, шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю! Тоже голосуешь!..

Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:

- Таких прав не имеешь!

- Я тебе покажу права!..

Обида была, как и все обиды, очень горькая.

Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала:

— А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос суешь!.. Наказание мне с тобой, да и только!

На другой день утром сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:

— А ведь это военный оркестр!

Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах, за окошком слышно частое — туп-туп-туп-туп...

Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна.

В конце улицы зеленой колыхающейся волной вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.

У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу... Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!..»

Вспомнил сон, и откуда только смелость взялась. Уцепился за подсумок крайнего.

— Вы куда идете? Воевать?

— А то как же? Ну да, воевать!

— А за кого вы воюете?

— За Советскую власть, дурашка! Ну, иди сюда, в серединку.

Толкнул Мишку в середину рядов, кто-то, смеясь, щелкнул его по вихрастому затылку, другой на ходу достал из кармана измазанный кусок сахара, сунул ему в рот. На площади откуда-то из передних рядов крикнули:

— Сто-о-ой!..

Красноармейцы остановились, рассыпались по площади, густо легли в холодке, под тенью школьного забора. К Мишке подошел высокий бритый красноармеец с шашкой на боку. Спросил, морща губы в улыбке:

— Ты откуда к нам приблудился?

Мишка напустил на себя важность, поддернул сползающие штанишки.

— Я иду с вами воевать!

— Товарищ комбат, возьми его в помощники! — крикнул один из красноармейцев.

Кругом захохотали. Мишка часто заморгал, но человек с чудным прозвищем «комбат» нахмурил брови, крикнул строго:

— Ну, чего ржете, дурачье? Разумеется, мы возьмем его, но с условием... — Комбат повернулся к Мишке и сказал: — На тебе штаны с одной помощью, так нельзя, ты нас осрамишь своим видом!.. Вот погляди: на мне две помочи, и на всех по две. Беги, пусть тебе матка пришьет другую, а мы тебя подождем тут... — Потом он повернулся к забору, крикнул подмигивая: — Терещенко, пойдя принеси новому красноармейцу ружье и шинель!

Один из лежавших под забором встал, приложил руку к козырьку, ответил:

— Слушаюсь!.. — и быстро пошел вдоль забора.

— Ну, живо беги! Пусть матка поскорее пришьет другую помочь!..

Мишка строго взглянул на комбата:

— Ты гляди, не обмани меня!

— Ну, что ты? Как можно!..

От площади до дома далеко. Пока добежал Мишка до ворот — запыхался. Дух не переведет. Возле ворот на бегу скинул штанишки и, мелькая босыми ногами, вихрем ворвался в хату.

— Маманька!.. Штаны!.. Помочь пришей!..

В хате тишина. Над печью черным роем гудят мухи. Обежал Мишка двор, гумно, огород — ни отца, ни матери, ни деда нет. Вскочил в горницу — на глаза попался мешок. Отрезал ножом длинную ленту, пришивать некогда, да и не умеет Мишка. Наскоро привязал ее к штанам, перекинул через плечо, еще раз привязал спереди и опрометью под амбар.

Отвалил камень, глянул мельком на ленинскую руку, указывающую на него, Мишку, шепнул, переводя дух:

— Ну, вот видишь?.. И я поступил в твою войску!..

Бережно завернул карточку в лопух, сунул за пазуху и по улице вскачь. Одной рукой карточку к груди жмет, другой штанишки поддергивает. Мимо соседского плетня бежал, крикнул соседке:

— Анисимовна!

— Ну?

— Перекажи нашим, чтоб обедали без меня!..

— Ты куда летишь, сорванец?

Мишка махнул рукой:

— На службу ухажу!..

Добежал до площади и стал как вкопанный. На площади — ни души. Под забором папиросные окурки, коробки от консервов, чьи-то изорванные обмотки, а в самом конце станицы глухо гремит музыка, слышно, как по утрамбованной дороге гогают шаги уходящих.

Из Мишкиного горла вырвалось рыданье, вскрикнул и что есть мочи побежал догонять. И догнал бы, обязательно догнал, но против двора кожевника лежит поперек дороги желтый хвостатый кобель, зубы скалит. Пока перебежал Мишка на другую улицу — не слышно ни музыки, ни топота ног.

■ Дня через два в станицу пришел отряд человек в сорок. Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду:

— Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд пришел. Разверстка начинается.

Солдаты ходили по дворам: щупали штыками землю в сараях, доставали зарытый хлеб и свозили на подводах в общественный амбар.

Пришли к председателю. Передний, посасывая трубку, спросил у деда:

— Зарывал хлеб, дедушка? Признавайся!..

Дед разгладил бородку и с гордостью сказал:

— Ведь у меня сын-то коммунист!

Прошли в амбар. Солдат с трубкой обмерил взглядом закрома и улыбнулся:

— Отвези, дедушка, вот из этого закрома, а остальное тебе на прокорм и на семена.

Дед запряг в повозку старого Савраску, покряхтел, постонал, насыпал восемь мешков, сокрушенно махнул рукой и повез к общественному амбару. Маманька, хлеб жалеючи, немного поплакала, а Мишка

помог деду насыпать зерно в мешки и пошел к попovu Витьке играть.

Только что сели в кухне, разложили на полу вырезанных из бумаги лошадей,— в кухню вошли те же солдаты. Батюшка, путаясь в подряснике, выбежал навстречу им, засуетился, попросил пройти в комнаты, но солдат с трубкой строго сказал:

— Пойдемте в амбар! Где у вас хлеб хранится?

Из горницы выскочила растрепанная попадьа, улыбулась воровато:

— Представьте, господа, у нас хлеба ничуть нету!.. Муж еще не ездил по приходу...

— А подпол у вас есть?

— Нет, не имеется... Мы хлеб раньше держали в амбаре..

Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни в просторный подпол, сказал поворачивая голову к попадье:

— А из кухни мы с Витькой лазили в подпол, забыла?..

Попадьа, бледнея, рассмеялась:

— Это ты спутал, деточка!.. Витя, вы бы пошли в сад поиграли!..

Солдат с трубкой прищурил глаза, улыбулся Мишке:

— Как же туда спуститься, малец?

Попадьа хрустнула пальцами, сказала:

— Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подпола у нас нет!

Батюшка, махнув полами подрясника, сказал:

— Не угодно ли, товарищи, закусить? Пройдемте в комнаты!

Попадьа, проходя мимо Мишки, больно щипнула его за руку и ласково улыбулась:

— Идите, детки, в сад, не мешайте здесь!

Солдаты перемигнулись и пошли по кухне, постукивая по полу прикладами винтовок. У стены отодвинули стол, скосынули дерюгу. Солдат с трубкой приподнял половицу, заглянул в подпол и покачал головой:

— Как же вам не стыдно? Говорили — хлеба нет, а подпол доверху засыпан пшеницей!..

Попадья взглянула на Мишку такими глазами, что ему стало страшно и захотелось поскорее домой. Встал и пошел во двор. Следом за ними в сенцы выскочила попадья, всхлипнула и, вцепившись Мишке в волосы, начала его возить по полу.

Насилу вырвался, пустился без огляду домой. Захлебываясь слезами, рассказал все матери; та только за голову ухватилась:

— И что я с тобой буду делать?.. Иди с моих глаз долой, пока я тебя не отбуздала!..

С тех пор, всегда, после каждой обиды, заползал Мишка под амбар, отваливал камешек, разворачивал лопух и, смачивая бумагу слезами, рассказывал Ленину о своем горе и жаловался на обидчика.

Прошла неделя. Мишка скучал. Играть не с кем. Соседские ребятишки не водились с ним, к прозвищу Нахаленок прибавилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишке кричали:

— Эй ты, коммуненок! Коммунячев недоносок, оглянись!..

Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером; не успел в хату войти, услышал, как отец говорит резким голосом, а маманька голосит и причитает, ровно по мертвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит: отец шинель свою скатал и сапоги надевает.

— Ты куда идешь, батянька?

Отец засмеялся, ответил:

— Уйми ты, сынок, мать!.. Душу она мне вынает своим ревом. Я на войну иду, а она не пускает!..

— И я с тобой, батянька!

Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами.

— Чудак ты, право! Нельзя нам обоим уходить сразу!.. Вот я вернусь, потом ты пойдешь, а то хлеб поспеет, кто же его будет убирать? Мать по хозяйству, а дед старей...

Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся. Маманька, как и в первый раз, повисла у отца на шее, насилу он ее стряхнул, а дед только крикнул, целуя служивого, шепнул ему на ухо:

— Фомушка... сынок!.. Может, не ходил бы? Может, без тебя как-нибудь?.. Не ровен час, убьют, пропадем мы тогда!..

— Брось, батя... негоже так. Кто же будет оборонять нашу власть, коли каждый к бабе под подол хорониться полезет?

— Ну, что ж, иди, ежели твое дело правое.

Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Провожать отца пошли до исполкома. Во дворе исполкомском толпятся человек двадцать с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз, вместе с остальными зашагал по улице на край станицы.

Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Маманька покачиваясь тянулась сзади. По станице реденький собачий лай, реденькие огни. Станица покрылась ночной темнотой, словно старуха черным полушалком. Накрапывал дождик, где-то за станицей, над степью, резвилась молния и глухими рассыпчатыми ударами бухал гром.

Подошли к дому. Мишка, молчавший всю дорогу, спросил у деда:

— Дедуня, а на кого батяня пошел воевать?

— Отвяжись!..

— Дедуня!

— Ну?

— С кем батянька будет воевать?

Дед заложил ворота засовом, ответил:

— Злые люди объявились по соседству с нашей станицей. Народ их кличет бандой, а по-моему — просто разбойники... Вот отец твой и пошел с ними сражаться.

— А много их, дедушка?

— Болтают, что около двухсот... Ну, иди, пострелыш, спать, будет тебе околачиваться!

Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, полапал по кровати — деда нет.

— Дедуня, где ты?

— Молчи!.. Спи, неугомонный!

Мишка встал и ощупью в потемках добрался до окна. Дед в одних исподниках сидел на лавке, голову высунул в раскрытое окно, слушает. Прислушался Мишка и в немой тишине ясно услышал, как за станицей часто затарахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы.

«Трах!.. тра-тра-рах!.. та-трах!»

Будто гвозди вбивают.

Мишку охватил страх. Прижался к деду, спросил:
— Это батянька стреляет?

Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала.

До рассвета слышались за станицей выстрелы, потом все смолкло. Мишка калачиком свернулся на лавке и уснул тяжелым, нерадостным сном. На заре по улице к исполкому проскакала куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор.

Во дворе исполкома черным столбом вытянулся дым, огонь перекинулся на постройки. По улицам засновали конные. Один подскакал к двору, крикнул деду:

— Лошадь есть, старик?

— Есть...

— Запрягай и езжай за станицу! В хворосте ваши коммунисты лежат!.. Навали и вези, нехай родственники зароят их!..

Дед быстро запряг Савраску, взял в дрожащие руки вожжи и рысью выехал со двора.

Над станицей поднялся крик, спешившиеся бандиты тащили с гумен сено, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора Анисимовны, вбежал в хату. Мишка услышал, как Анисимовна завывала толстым голосом. А бандит, брякая шашкой, выбежал на крыльцо, сел, разулся, разорвал пополам цветастую праздничную шаль Анисимовны, сбросил свои грязные портянки и обернул ноги половинками шали.

Мишка вошел в горницу, лег на кровать, придал голову подушкой, встал только тогда, когда скрипнули ворота. Выбежал на крыльцо, увидел, как дед с бородкой, мокрой от слез, вводит во двор лошадь.

Сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки, голова его, подпрыгивая, стучается об задок, течет на доски густая, черная кровь...

Мишка качаясь подошел к повозке, заглянул в лицо, искромсанное сабельными ударами: видны оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью, а на заплывшем кровью выпученном глазе покачиваясь сидит большая зеленая муха.

Мишка, не догадываясь, мелко подрагивая от ужаса, перевел взгляд и, увидев на груди, на матросской

рубаше, синие и белые полосы, залитые кровью, вздрогнул, словно кто-то сзади ударил его по ногам,— широко раскрытыми глазами взглянул еще раз в недвижимое черное лицо и прыгнул на повозку.

— Батянюшка, встань! Батянюшка миленький!..— упал с повозки, хотел бежать, но ноги подвернулись, на четвереньках прополз до крыльца и ткнулся головой в песок.

■ У деда глаза глубоко провалились внутрь, голова трясется и прыгает, губы шепчут что-то беззвучно.

Долго молча гладил Мишку по голове, потом, поглядывая на мать, лежавшую плашмя на кровати, шепнул:

— Пойдем, внушек, во двор...

Взял Мишку за руку и повел на крыльцо. Мишка, шагая мимо дверей горницы, зажмурил глаза, вздрогнул: в горнице на столе лежит батянька, молчаливый и важный. Кровь с него обмыли, но у Мишки перед глазами встает батянькин остекленевший кровянистый глаз и большая зеленая муха на нем.

Дед долго отвязывал у колодца веревку; пошел в конюшню, вывел Савраску, зачем-то вытер ему пенные губы рукавом, потом надел на него узду, прислушался: по станице крики, хохот. Мимо двора едут верхами двое, в темноте посверкивают сигарки, слышны голоса.

— Вот и мы сделали разверстку!.. На том свете будут помнить, как у людей хлеб забирать!..

Переборы лошадиных копыт умолкли, дед нагнулся к Мишкиному уху, зашептал:

— Стар я... не влезу на коня... Посажу я тебя, внушек, верхом, и езжай ты с богом на хутор Пронин... Дорогу я тебе укажу... Там должен быть энтот отряд, какой с музыкой шел через нашу станицу... Скажи им, нехай идут в станицу: тут, мол, банда!.. Понял?..

Мишка молча кивнул головой. Посадил его дед верхом, ноги привязал к седлу веревкой, чтобы не упал, и через гумно, мимо пруда, мимо бандитской заставы провел Савраску в степь.

— Вот в бугор пошла балка, над ней езжай, никуда не свиливай! Прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родный!..

Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил Савраску ладонью.

Ночь месячная, видная. Савраска трюхает мелкой рысцей, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу, убавляет шаг. Мишка трогает его поводьями, хлопает рукой по шее, трясется, подпрыгивая.

Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гущине зреющих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода, ветер тянет прохладой.

Мишке страшно одному в степи, обнимает руками теплую Савраскину шею, жмет к нему маленьким зыбким комочком.

Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору. Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о чем. В ушах у него застывает тишина, глаза закрыты.

Савраска мотнул головой, фыркнул, прибавил шагу. Чутьочку приоткрыл Мишка глаза — увидел внизу, под горой, бледно-желтые огоньки. Ветром донесло собачий лай.

Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь. Толкнул Савраску ногами, крикнул:

— Но-о-о-о!..

Собачий лай ближе, видны на пригорке смутные очертания ветряка.

— Кто едет? — окрик от ветряка.

Мишка молча понукает Савраску. Над сонным хутором заголосили петухи.

— Стой! Кто едет?.. Стрелять буду!..

Мишка испуганно натянул поводья, но Савраска, почувший близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводьев.

— Сто-о-ой!..

Около ветряка ахнули выстрелы. Мишкин крик потонул в топоте конских ног. Савраска захрипел, стал в дыбки и грузно повалился на правый бок.

Мишка на мгновение ощутил страшную, непереносимую боль в ноге, крик присох у него на губах. Савраска наваливался на ногу все тяжелее и тяжелее.

Лошадиный топот ближе. Подскакали двое, звякая шашками, прыгнули с лошадей, нагнулись над Мишкой.

— Мать родная, да ведь это парнишка!

— Неужто ухлопали?!

Кто-то сунул Мишке за пазуху руку, близко в лицо дохнул табаком. Чей-то обрадованный голос сказал:

— Он целенький!.. Никак, ногу ему конь раздавил?..

Теряя сознание, прошептал Мишка:

— Банда в станице... Батянку убили... Сполком сожгли, а дедуня велел вам скорейча ехать туда!

Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные круги...

Прошел мимо батянька, усы рыжие крутит, смеется, а на глазу у него сидит покачиваясь большая зеленая муха. Дед прошагал, укоризненно качая головой, маманька, потом маленький лобастый человек с протянутой рукой, и рука указывает прямо на него, на Мишку.

— Товарищ Ленин!..— вскрикнул Мишка глохнущим голосом, сисясь приподнял голову — и улыбнулся, протягивая вперед руки.

ЧАПАЕНОК

Рассказ

Отряд Чапаева стоял на отдыхе в большом селе.

Рядом с избой, где остановился Василий Иванович, был двор Лагутиных. В семье Лагутиных самым младшим был Гриша. Ему шел пятый год.

Однажды Гриша отправился к Чапаеву один, тайком от сестры. Сестра казалась ему большой — ей пошел уже тринадцатый год, играть в войну она не хотела и вообще была девочкой, с ней даже разговаривать было скучно.

Гриша вошел во двор и неторопливо зашагал вперед. Кругом было много интересного. У хлевов стояли две оседланные лошади, мотали головами, звенели уздечками. Седла на них были желтой кожи, стремяна висели высоко, по-казацки.

В пыли бродил одинокий петух. Он гордо выгнул шею и поглядел на Гришу желтым сверкающим глазом. В самом конце двора, около сарая, росли лопухи. Вот бы порубить их ивовым прутком, так, чтобы они легли наземь, как беляки под саблех Чапаева!

Но недалеко от лопухов сидел на широком бревне Петр Исаев. Ворот рубахи был у него расстегнут, стальная потемневшая цепочка вилась через всю грудь и кончалась большим кольцом. Кольцо было приделано к ручке нагана, а сам наган торчал из-за широкого кожаного пояса.

По-особенному сидела на нем и папаха, сдвинутая на затылок так далеко, что вот-вот свалится. К папахе была наискось пришита красная лента.

Петр Исаев лениво притопывал каблуком, позвякивал шпорой и глядел на Гришу Лагутина.

— А вам куда, гражданин? — строго закричал он.

Гриша остановился.

— Где был? — уже тише спросил его Петька, сел на бревно поудобней и положил на колени длинную шашку в черных ножнах.

Гриша оробел, но не очень. Он ни в чем не был виноват. С самого утра он вел себя смирно. А на петуха с желтым глазом даже и не махнулся.

Помолчав немного и пососав палец, Гриша решил-ся ответить:

— Ходил на речку с тетей Настей.

— А почему?

— Белье полоскать.

— А почему?

Гриша поглядел искоса, боком. Петра Исаева он знал уже с неделю, но понять его не мог: то смеется, то пытается всякими вопросами, а то и сахара даст.

Сейчас Петр грозно хмурил свои реденькие, выго-ревшие на солнце брови.

Грише и боязно стало, и уйти не хотелось от муж-чины, увешанного оружием.

— Почему? — повторил Исаев.

— Чтоб чистое было, — ответил наконец Гриша.

— А как тебя зовут?

— Небось знаешь: Гришкой.

— А почему Гришкой?

Гриша уже начал расстраиваться, но тут Петр вско-чил с бревна:

— Доброго здоровья, Василий Иванович!

Гриша оглянулся: от ворот шел к дому Чапаев. Он весело похлопывал хлыстом по своим запыленным сапогам.

— Эй, орел, с чего загрустил? — спросил он Гришу. Тот пыхтел и ничего не отвечал.

Чапаев стоял перед ним ладный и красивый, как всегда. Коричневые ремни пересекали его гимнастер-ку, револьвер висел в тяжелой деревянной кобуре, са-поги были ловко подтянуты у колен ремешками.

— А сабля твоя где? — сказал наконец Гриша.

— Дома оставил. Придешь в гости — покажу.

— А когда?

— В гости-то? Да хоть сейчас. Я тебя на саблю вер-хом посажу: тут тебе и конь, тут тебе и оружие.

Чапаев взял Гришу за руку и повел к избе.

Часовой, стоявший у крыльца, пропустил их улы-баясь.

Но только они прошли, как через двор пролетела к избе Гришина сестра Лида.

— Пришел Чапаев? — запыхавшись, спросила она часового и поднялась было на крыльцо.

Часовой загородил дверь винтовкой.

— А зачем тебе товарищ Чапаев?

— Я к нему в отряд хочу.

Часовой захохотал:

— В отряд? погоди, дочка, годов семь. Подрости. А тогда и в отряд.

— Да, подрости! Пока подрастешь, и война кончится.

— Не кончится. Мы без тебя не справимся.

Девочка вдруг быстро нагнулась и под дулом винтовки прыгнула к двери.

— Стой! — закричал часовой.

На крыльцо выглянул Чапаев:

— Что за шум?

— Да вот, Василий Иванович, девчонка чапаевцем хочет стать. А я говорю: мала, подрости сперва.

— Ты чья? — спросил Чапаев девочку. — Как тебя зовут?

— Лидкой. По фамилии Лагутина.

Василий Иванович знал историю семьи Лагутиных. Павел Лагутин сражался против белых в Уральске. Дети его жили у тетки Насти. Тетка не очень-то была рада, что ей пришлось кормить двух детей: в то время близко от фронта хлеба не хватало.

— А, теперь я тебя узнал. Это твой отец — Павел Лагутин? — спросил Василий Иванович.

— Ага.

— Ну, заходи, Лида. Твой брат Григорий Павлович у меня гостит.

Лида вошла в горницу и сразу стала сердитой.

— Гринька, ступай домой сейчас же! — крикнула она брату.

Гриша стоял около скамейки, где лежала шашка Чапаева. Он как раз собирался потрогать пальцем серебряную рукоятку.

— Как же, «ступай»! — проговорил он басом. — Умная какая! Сама ступай!

Василий Иванович покрутил усы, походил по комнате, подумал.

— Ну ладно, Лида, — сказал он наконец. — Мала-то ты мала, да, знать, шустро. Придумаем тебе в отряде дело.

Так и осталась в отряде Лида Лагутина.



Бойцы скоро ее полюбили и прозвали «Чапаенком».

Один раз даже позволили ей пойти в ночной дозор.

И там ночью, уже под самое утро, когда человека особенно одолевает сон, Лида заметила какие-то тени, мелькавшие далеко впереди. Она потихоньку поползла назад, к своему батальону, и разбудила красноармейцев. Те быстро вскочили, взяли оружие и встретили врага дружным огнем из винтовок. Так и не удалось белым напасть на чапаевцев врасплох. После этого бойцы еще больше полюбили Чапаенку Лиду.

Но однажды был случай, когда она рассердила Василия Ивановича.

Как-то сломалась у нее походная деревянная ложка. Она, недолго думая, забежала в пустой казачий дом, схватила со стола чью-то ложку и вернулась в батальон.

А когда сели обедать, Чапаев спросил:

— Откуда у тебя такая ложка? Я твою помню — та деревянная была, а эта — железная.

Лида покраснела.

— Да дом-то ведь брошенный, Василий Иванович, — сказала она.

Василий Иванович ударил кулаком по столу.

— На коня! — закричал он.

Лида очень гордилась тем, что она мигом может выполнить любую команду, а команду Чапаева — тем более. Она вскочила, выбежала во двор и через минуту уже подъезжала к крыльцу верхом на коне.

Чапаев вышел на крыльцо, поглядел на Лиду сердито и сказал:

— Скачи и положи ложку там, где взяла. Разве может чапаевец брать чужое? Смотри, чтоб в другой раз не пришлось тебе это повторять!

Чапаев даже покраснел — до того рассердился.

Лида скорей поскакала, разыскала пустой казачий дом и положила ложку на место.

С тех пор она ни разу ни в чем не провинилась и с честью носила свое звание Чапаенка.

А брат ее, Гриша Лагутин, вступил в Красную Армию тоже добровольцем — лет на пятнадцать позже.

ПРОСТРЕЛЕННАЯ ФУРАЖКА

Глава из повести „Сын Таращанского полка“

Хотя Васильку казалось, что он не спал, но когда он снова раскрыл глаза, комната уже была освещена ярким солнцем. У окна сидела растрепанная мать и рукавом вытирала слезы. На ней была разорвана рубашка, а под глазом темнел синяк. Увидев Василька, она громко заплакала. У мальчика тоже навернулись слезы.

— Что с вами, мама? — спросил он, испуганно глядя на разорванную рубашку. — Вас били гайдамаки, да? — Чтоб под ними земля провалилась, — ответила сквозь слезы мать и упала головой на руки.

Василек решил теперь немедленно бежать к отцу и сказать, чтоб он скорее возвращался домой, потому что гайдамаки избили мать и порвали на ней рубашку.

Он слез с сундука, взял подаренную командиром книжку и на цыпочках выскользнул из хаты.

Лошадей во дворе уже не было, остался лишь выбитый ими след под яблонькой. На ней была ободрана кора и все веточки внизу объедены. Василек позвал Шарка и выбежал с ним на улицу. От школы шли два казака. Один из них был с чубом, похожим на седлку. Впереди бежал Никита. Василек теперь боялся Никиты и спрятался за сарайчик.

Никита привел казаков ко двору Василька. Они вошли в хату, а Никита остался на улице и смотрел во двор сквозь плетень. Василек на цыпочках вышел из-за сарайчика и изо всех сил понесся в поле.

По дороге Шарко вспугнул несколько воробьев. Они купались в пыли, как в грязных обмывках. Погнался за вороной, потом начал носиться за белыми бабочками. Не поймав ни одной, он виновато оглядывался на Василька и вертел хвостом.

Когда навстречу попадались чубатые гайдамаки, Василек с Шарком обходили их стороной. Из-под ног

на выгоне выпрыгивали испуганные кузнечики, убежали в щелки зеленые ящерицы, срывались синие стрекозы с прозрачными крылышками, а по багряным чертополохам, с цветка на цветок, перелетали мохнатые шмели.

Василек оглянулся назад. С холма видно было все село и их двор. Над трубами в небо вился легонький дымок, но над их хатой почему-то стоял огромный столб черного дыма, а под ним качался красный огонь. Василек знал уже, что такой дым бывает тогда, когда горит хата, и побежал еще сильнее, чтобы сказать об этом отцу.

В поле было безлюдно и тихо. Никто не пахал, никто не возил снопов. Василек пробежал уже и то место, где вчера остановились подводы, но нигде никого не было видно.

— Шарко, ищи след! — скомандовал он.

Шарко смотрел на него бусинками глаз и вилял хвостом.

— Ищи батин след! — и Василек наклонился к земле.

Шарко тоже уткнул нос под его руку, потом принюхался, вдруг завизжал, побежал от дороги и залаял.

Василек пустился следом за ним.

В конце выгона они наткнулись на потерянную кем-то фуражку со звездой. Возле фуражки валялась тряпка с красными пятнами.

Шарко остановился, обнюхал фуражку, потом тряпку и жалобно заскулил.

— Чего ты, Шарко? — спросил Василек и поднял фуражку. В фуражке была сбоку дырочка, а в середине черные кровавые пятна.

Шарко подпрыгнул к фуражке и лизнул козырек.

Василек посмотрел на переломанный козырек и обрадовался.

— Батина фуражка! Батя где-то здесь.

Но вокруг не было никого. Только блестели на солнце медные гильзы от стреляных патронов.

Васильку стало страшно.

— Ищи батю, Шарко! — уже сквозь слезы проговорил он и снова побежал вниз.

Шарко завертелся на одном месте, потом, опустив морду к земле, побежал на примятое просо и по борозде опередил Василька.

Борозда привела их к речке.

Шарко подскочил к воде и, потеряв след, заскулил. С берега в воду шлепали вспугнутые им лягушки.

Он пробежал вдоль воды в одну сторону, в другую, бросился было в речку, но чуть не захлебнулся, выскочил на берег, отряхнулся и снова запрыгал возле Василька, лая на реку.

— Разве батя на тот берег переплыли? И мы давай переплывем.

Василек быстро снял штанишки и рубашку, связал в узелок вместе с книжкой и привязал себе на шею, чтобы не замочить. Отцовскую фуражку надел на голову.

— Лезь, Шарко, плыви на ту сторону, — толкнул он собаку в воду. — Не бойся, вода теплая.

Но Шарко снова выскочил на берег и, боязливо поджав хвост, залаял.

На той стороне виднелся поломанный рогоз. Василек зашел в воду и стал пристально всматриваться.

Из рогоза сначала показались ноги, потом раздувавшаяся рубашка, и наконец он увидел всего человека.

Человек лежал до половины в воде и тихо качался на волнах, нагоняемых ветром. Василек, не спуская глаз с рогоза, поплыл к берегу.

Вместе с Шарком они побежали вверх и, лишь оказавшись далеко в поле, остановились, чтобы перевести дыхание. У Шарка от жары вывалился красный язык, а у Василька колотилось сердце.

Отсюда реку было видно, как на ладони, но мостики, чтобы переправиться, не было.

Он оглянулся вокруг. Грякова, их села, уже не видно было, а впереди далеко-далеко виднелся какой-то хутор, обсаженный высокими деревьями.

Василек снова надел рубашку и штанишки с одной подтяжкой, а фуражку и книгу засунул под мышку и побежал напрямик к хутору.

За садом, возле хутора, под зелеными черешнями Василек неожиданно увидел много лошадей. Они стояли, запряженные в передки и в зарядные ящики.

За черешнями был овин, под которым сидели чубатые гайдамаки.

Василек подумал, что там сидят и те, которые побили его маму, обошел стороной и перелез через окоп.

На поляне он снова увидел гайдамаков. Они возились возле двух пушек. Василек еще никогда не был так близко возле пушки, взглянул на Шарка и стал приближаться.

В одной пушке гайдамак открывал и закрывал отверстие сзади. Затем брал из жестянки масло, смазывал внутри и снова закрывал. Каждый раз у него под руками что-то щелкало.

— Оставь немного и мне масла, — крикнул казак, возившийся у другой пушки, — а то колесико уже не крутится.

Первый казак отставил жестянку под кустик и начал рассматривать зубок сбоку тела орудия.

Василек подошел ближе. Вокруг стояли ящики со снарядами и валялись стреляные гильзы.

Поодаль слонялись еще казаки, но они не обращали на Василька внимания; только тот лупоглазый, что был возле пушки, заметил его и спросил:

— Ты чего здесь шляешься?

— Батю ищу, — нахмурившись, ответил Василек.

— А что твой батя делает?

Василек помолчал и нехотя ответил:

— Батя стрелять умеют!

— Молодчина твой отец. Ты с этого хутора? — он кивнул на усадьбу. Это был хутор кулака Корсуна — за огородами тянулись длинные коровники, крепкие конюшни и большие скирды хлеба. — Вынеси нам сала!

— А это далеко стреляет? — заинтересованный пушкой, спросил Василек.

— Как стрельнет, так аж на ту сторону реки достанет.

— Туда нельзя стрелять! — хмуро сказал Василек.

— Это почему же нельзя? Там ведь красные.

В это время от другого орудия позвал солдат:

— Боровик, слышь Боровик, дай мне твой разрядник!

— На, отнеси это тому дяде, — сказал лупоглазый Боровик и передал Васильку длинную палку с круглой щеткой на конце.

Возле второго орудия усатый казак встретил Василька словами:

— Глянь, это у нас новый вояка! Еще и грамотный! А ну покажи книжку. Евангелие?

Шарко, заметив, что чужой протянул к Васильку руку, ошетинился и зарычал.



Казак от неожиданности отскочил и замахнулся на Шарка щетиной. А Василек запрятал отцовскую фуражку и книжку за пазуху.

Второе орудие было открыто. Казак засунул в него щетку и начал водить ею по стволу.

— Это вы чистите? И мама стекло от лампы так чистит.

— Точно так,— серьезно ответил казак.

— А разве пушка светится?

— Она как засветит, парень, так и небу жарко станет.

— А зачем вы чистите?

— Чтобы не было там песчинок,— ответил так же серьезно казак.— А то только захочешь стрельнуть, а она бах-трах, и уже без носа.

— Пушка без носа! — Василек даже рассмеялся.— А ну покажите, как бах-трах.

— Я тебе покажу! Убирайся-ка прочь! А то я тебя самого как заложу в пушку, так ты тогда останешься без носа.

Василек попятился. Возле ящиков со снарядами стоял долговязый командир с трезубцами, вроде вилки, на воротнике и смотрел в поле через бинокль.

Шарко поднял морду, что-то нанюхал и бочком шмыгнул под кустик, где лежали продолговатые жестянки. Чуть дальше валялись брезентовые ведра, какие-то большие ключи и разбитые ящики.

Василек подошел к командиру.

— И у меня есть такое стекло: как посмотришь, так все красное — и небо, и земля.

Командир отвел от глаз бинокль и удивленно взглянул на мальчика.

— Дайте я посмотрю, дядя,— продолжал Василек.

— Ты же ничего не увидишь! Ну, на, посмотри.— Он тоже, видимо, думал, что мальчик из этого хутора, и поэтому охотно снял через голову ремешок.

Василек приложил большой бинокль к глазам. На стекле зашевелились огромные пятна, затем показались ветви, а когда он поднял немного голову, то блеснула река, будто под самыми ногами, а за рекою несколько хаток. Возле крайней хатки ходил кто-то с винтовкой за плечами.

— Увидел что-нибудь?

— Вот речка! Вот близко, и хаты вот! — И он протянул вперед руку, словно хотел схватить хату. В это время из кустов выкрикнул телефонист: — Батарея, к бою! Противник сосредоточивается в селе за рекой!

Командир выхватил у Василька бинокль, приложил к глазам и повторил команду: — К бою!

Из кустов, что были сзади батареи, к пушкам подбежали еще несколько казаков и засуетились, как муравьи. Одни подносили снаряды, другие ворочали орудия за правило, а еще другие крутили колесики, отчего орудия водили головой то в одну, то в другую сторону или вниз и вверх.

У второй пушки колесики почти совсем не вращались, и казак побежал под кусты взять масло.

Из кустов выскочил, облизываясь, Шарко и приготовился удирать.

— Где масло? — кричал казак, нервно разбрасывая пустые жестянки. — Масло где, Боровик? У меня механизм заедает.

— Вон перед твоим носом стоит жестянка!

— Да ведь она уже пустая! — казак глянул на замасленную морду Шарка и вытаращил глаза так, будто перед ним стоял не обыкновенный пес, а страшный лев.

— Собака съела. Ах ты, проклятая!.. — И наклонился за комом земли.

Шарко, увидев, что его разоблачили, поджал хвост и шмыгнул в кусты.

Василек, напуганный проказами Шарка, хотел тоже удрать, но в это время в пушки заложили снаряды, закрыли затворы и по команде «Огонь!» дернули шнуры. Блеснул огонь, и раздался страшный выстрел. Василек с испуга вскрикнул и бросился бежать.

Из кустов выскочил Шарко и тоже изо всех сил помчался на огороды.

Василек остановился у самой скирды соломы. Слезы сами текли по его щекам. В это время за рекой снова бухнуло, но уже тише, и над его головой кто-то крикнул: — Перелет!

Василек отошел от скирды и увидел на ней чубатого казака, тоже с двумя трубками у глаз. Казак сидел в гнездышке и только спереди для головы сделал в соломе дырку.

— Пхе,— произнес Василек.— Думает, спрятался, а я побегу и скажу бате, нарочно скажу.

На батарее снова слышалась команда: «Огонь!» — и два выстрела потрясли воздух. Дым и пыль окутали батарею. Но на этот раз Васильку было уже не так страшно, и он начал снова приближаться к пушкам.

Казак с острыми усами, вертевший колесики, все еще ругал Шарка. Василек поискал глазами и увидел далеко на огороде в ботве картофеля только его морду. Шарко боялся подходить ближе и виновато скулил. — Дурак, здесь ничего страшного нет,— сказал ему Василек и прошел еще несколько шагов. Шарко столько же пролез в кустах картофеля.

Пушки стрельнули еще раз и замолчали.

Теперь уже слышны были одинокие выстрелы с той стороны реки, но снаряды рвались где-то за хутором. Там будто трескалась земля, и за каждым взрывом поднимался вверх столб дыма.

— Туда сколько угодно бейте,— сказал командир,— лишь бы не сюда.

Василек догадался, что с той стороны не могут попасть в эту батарею, и по-заговорщицки сказал, обращаясь, к Шарку: — А я скажу батьке, где стоят пушки, нарочно побегу и скажу.

Ему лишь хотелось сначала посмотреть, что это так сильно грохочет.

После стрельбы казаки открыли в пушках затворы, попрятались в тени и начали свертывать папиросы.

Василек боязливо приблизился к первой пушке и заглянул в ствол. Через него виднелись тучки на небе. Перед носом была ручка на затворе, которой щелкал казак. Василек тоже нажал и щелкнул. Это ему понравилось. Он начал раскачивать затвор, который одновременно щелкал и о зубок на пушке.

Кто-то из казаков крикнул:

— Ты что там делаешь! А ну убирайся оттуда! Игрушку нашел!

Василек воровски оглянулся, отступил было немного, но потом снова подошел и начал ударять затвором о зубок, о тот самый, который раньше осматривал казак. Зубок был уже с трещиной. После третьего удара он хрустнул и упал на землю.

Замок уже больше не щелкал.

Василек испуганно забежал глазенками, отошел к другой пушке и, будто оправдываясь, пробормотал: — Это чтобы не стреляли в батю. Я и эту побью. Я ее так заткну, что и пуля не вылезет!

Он зашел наперед. Казаки все еще прятались в тени, а за высоким щитком пушки Василька и совсем не было видно.

Василек нашел большой ком земли и начал забивать им ствол. От удара ком раздробился, и песок посыпался внутрь ствола. Он нашел еще больший ком, который бы наверняка закрыл всю дыру, но снова слышалась команда телефониста.

— Батарея, к бою! Красные наступают на переправу! Из-за реки загрела стрельба. На батарее снова поднялась суматоха.

Василек, чувствуя, что он напроказничал, теперь уже не показывался казакам на глаза, а обойдя пушки, забежал в кусты и оттуда высунул лишь голову. Рядом выглядывала голова Шарка.

— Скорее там возитесь, первое орудие! — крикнул командир, так как второе было уже заряжено и орудийный начальник в знак его готовности поднял вверх руку.

С первым же орудием что-то случилось. Казак никак не мог закрыть затвор.

— Зубок кто-то сбил, пан сотник! — наконец выкрикнул он испуганно.

Из кустов снова слышался нетерпеливый голос телефониста:

— Скорее стреляйте, красные уже подходят к переправе!

Тогда сотник сердито скомандовал:

— Второе орудие, огонь!

Орудийный начальник взмахнул рукой, усатый казак дернул за шнур, блеснуло красное пламя, загудела земля, и что-то гулко прожужжало в разные стороны. Когда развеялся дым, Василек увидел, что от второй пушки осталась лишь половина, всю переднюю часть до самого щита разорвало и куски разбросало неизвестно куда.

— Без носа пушка осталась, — весело сказал Василек.

Сотник со злости даже побледнел, затопал ногами, с кулаками бросился к казакам.

— Кто это натворил?

Казак вытаращил глаза. Он сам не понимал, что случилось.

— Может быть, тот мальчуган? — оглянулся он вокруг. — И смазку съели.

— Только враг мог такое сделать! Где этот проклятый мальчишка?

Василек, услышав, что говорят о нем, тихонько выбрался из кустов, влез в ботву картофеля и пополз на животе дальше в огород. Шарко радостно лизнул его в нос и, довольный, быстро побежал впереди.

— А я сказал, что испорчу им все, чтобы не стреляли в батю, — говорил Василек, обращаясь к Шарку. — Ты только масло съел, а я аж две пушки побил.

За огородом стояла другая скирда соломы. Василек с Шарком, уверенные, что убежали далеко, присели передохнуть под лестницей, приставленной к скирде. С того берега реки послышалась стрельба.

Василек выскочил на старое пепелище и вытянул шею, но ничего не мог увидеть за деревьями.

— Вот если бы такие стеклышки были, как у того командира, — проговорил он, обращаясь к Шарку, — даже за село увидел бы.

Шарко сочувственно завилял хвостом, отбежал на кучу пепла и поднял лапу. Василек погрозил ему, чтобы он не вылезал, и вдруг увидел на земле обломки оконного стекла. Решив, что такое стекло может заменить бинокль, Василек взял одно стеклышко, вытер о штанишки, посмотрел в него, но и теперь деревья заслоняли реку. Он оглянулся, заметил лестницу и полез на скирду. Шарко запрыгал у лестницы.

Со скирды было видно далеко в обе стороны речку, за нею село, против села через речку тянулся мост. Возле моста сновали какие-то люди, и там вспыхивали дымки, а над всем стояла пыль. Около хутора после каждого удара земля взлетала вверх, и долго на том месте тучей висела густая пыль. Василек приложил к глазу кусок стекла. Солнце светило прямо в глаза, и стекло остро блеснуло в его руках.

За рекой снова ухнуло раз и другой, но снаряды понеслись уже не за хутор, а прямо на скирду соломы. Красные, видимо, думали, что блеснул на солнце бинокль у петлюровского наблюдателя.

Снаряд сначала свистел, потом начал реветь. От страха стекло выпало у Василька из рук и снова ярко блеснуло на солнце. Его самого будто ударило в грудь упругим ветром, и он упал на спину.

Снаряды перелетели через солому и разорвались возле черешни, где стояли лошади. Там поднялся крик, а Шарко сердито залаял. Василек со стеклом в руках встал на ноги и снова склонился со скирды, чтобы посмотреть, почему лает Шарко.

Шарко лаял в сторону огорода. По картофелю напрямик к лошадям бежал взволнованный командир с биноклем. Он быстро взглянул на собаку, потом на солому и увидел на ней Василька со стеклом в руках. — А, так ты вот какой! — рассвирепел командир. — Подаешь сигналы! Помогаете большевикам! — Вытащил из кобуры револьвер и бросился к лестнице. Шарко, заметив это, напал на командира. Сотник отбросил его ногой и полез на скирду.

Василек не понимал, почему внизу кричит долговязый командир в серой шапке, а затем подумал, что, быть может, его разыскивают, и хотел уже удрать назад по лестнице, но навстречу лез злой сотник. Он бросился в другой конец, хотел сползти, но было высоко и страшно; тогда Василек вырыл гнездышко в соломе и притаился, убежденный, что так его трудно будет найти. Когда же показалась над соломой голова командира, он сильно перепугался и не своим голосом закричал:

— Мама! — закричал так страшно, что испугал даже командира.

В это время над их головами проревел снаряд. Скирду вздыбило ветром, командира сдуло с лестницы, а Василька подбросило вместе с соломой, и он исчез.

Красные, уверенные, что наконец-то пристрелялись, продолжали стрелять и тогда, когда не стало на соломе Василька. Большие снаряды сердито кромсали деревья, рыли огород, рвали плетни: весь хутор заволочло густым дымом и пылью. Стреляли уже где-то близко и из винтовок. Напуганным петлюровцам нечем уже было отбиваться, и они начали изо всех сил удирать за хутор пешком и на лошадях. А еще немного погода на полянку выскочили бойцы со звездами на фуражках.

На поляне остались лишь одинокие, искалеченные пушки да разбросанные батарейные вещи. Впереди бежал бородатый. Увидев пушки, бойцы от неожиданности отступили назад, за кусты. Потом из кустов показалась одна, другая, третья голова. Они внимательно присматривались к батарее, но возле пушек не было ни одного гайдамака.

— Да они испорчены, пушки,— сказал бородатый.

Тогда красноармейцы смело выбежали на поляну.

— Это наша батарея им так всыпала,— сказал другой красноармеец.

Бородатый красноармеец обошел поляну; вокруг валялись ящики из-под снарядов, гильзы, брезентовые ведра, телефон, но воронки от снарядов были дальше.

— У них здесь что-то случилось,— сказал он.— Это не нашим снарядом отбит нос пушки.

— Может, кто умышленно сделал,— сказал другой.— Смотрите, вот зубок отбитый.

— Спасибо ему, а то мы еще долго не могли бы через мост перебраться.

— Просто дышать, проклятые, не давали.

Бородатый осмотрел обе пушки.

— Наверно, какой-то партизан красный.

— Может быть, и лошади остались?

— А ну ищите,— скомандовал он.— Да смотрите внимательно, чтобы на засаду не напороться.

Красноармейцы осторожно пошли через огороды к черешням, осматривая по дороге каждый кустик. Возле скирды они заметили собаку, которая сидела на соломе и повизгивала, настораживая уши и внимательно всматриваясь в солому.

Бородатый удивленно замигал глазами.— Шарко! Да это же Стародуба пес! Откуда он здесь взялся?

Шарко завилял хвостом и снова уткнулся в разбросанную солому, настороженно вслушиваясь. Бородатый красноармеец пожал плечами, посмотрел на хутор, оглянулся вокруг. Из Грякова, где жил Стародуб, отец Василька, до этого хутора было не меньше пяти верст, и один пес сюда не прибежал бы. Но сейчас его интересовало поведение Шарка.

— Может, там беляк запрятался? Пойдите посмотрите.

Два красноармейца начали разгребать солому, пока не увидели под ней мальчика. Он был бледен и,

казалось, крепко спал. Красноармеец приложил запыленное ухо к его груди.

— Живой. Нашим снарядам, наверно, контузило.

Они оставили его на соломе и побежали догонять бородатого.

Бородатый, услышав о ребенке, быстро вернулся назад. В контуженном мальчике он сразу узнал Васильку. Василек был в длинных штанах с одной подтяжечкой через плечо. Подтяжечка теперь была оторвана. Чтобы облегчить мальчику дыхание, бородатый растегнул рубашонку и поясок на штанишках.

Из-за пазухи выпала книжка «Политграмота» и фуражка с дырочкой над ухом. Он посмотрел на простреленную фуражку и вытер ею покрасневшие глаза. — Отца, наверно, искал,— и осторожно поднял мальчика на руки.

Когда Васильку положили на подводу, он открыл глаза и недоуменно обвел взглядом склоненные над ним лица. Бородатого он не узнал, но на фуражке другого красноармейца увидел звезду и быстро поднялся.

— Где батя? Пускай домой идет... гайдамаки с чубами маму побили, и пожар...

Один красноармеец глубоко вздохнул.

— А отца в госпиталь уже повезли.


— Найдем отца,— сказал бородатый.— Ты полежи немножко, а отец как только выздоровеет, так тебя и возьмет. Ляг.

— Домой бы его отправить.

— Какой там дом у партизана! Сожгли, слышал, и мать, наверно, забрали.

— Пускай, сначала придет в себя мальчик, а там отец вернется.

Василек снова закрыл глаза и обессиленно склонился бородатому на руки. На дороге сидел, нетерпеливо перебирая передними лапами, Шарко. На глазах у него блестели слезы.



Р. В. С.

Рассказ

1 Раньше сюда иногда забегали ребятишки затем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев — еще кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудками.

А с тех пор, как атаман Криволюб, тот самый, у которого желто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь четырех москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над широко раскинувшимися лопухами.

А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порывлся в соломе и извлек оттуда две обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его распо-

ложение. По счастливой случайности или еще почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьи́м постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врбался в самую гущу репейников и чертополохов, которые героически умирали, не желая даже под столь бурным натиском обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны да адмиралы...

Или:

— Коммуну захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди.

Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки! — подумал он. — Вот теперь мать даст трепку, а то и поест, пожалуй, не оставит». И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое по-лучше.

Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, не смотря на то что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая за чем-то старый пиджак и штаны из чулана.

Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину. Обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

— Мам! Кто это? — гневно спросил Димка.
 — Ах, отстань! — досадливо ответила та отворачиваясь. — Что я, присматривалась, что ли?

Но Димка почувствовал, что она говорит неправду.

— Это дядя сапогом двинул, — пояснил Топ.

— Какой еще дядя?

— Дядя... серый... он у нас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Димка отворил дверь. На кровати он увидел здорового детину в солдатской гимнастерке, рядом на лавке лежала казенная серая шинель.

— Головень! — удивился Димка. — Ты откуда?

— Оттуда, — последовал короткий ответ.

— Ты зачем Шмеля ударил?

— Какого еще Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! — с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вот что! Надолго?

— Надолго.

— Ты врешь, Головень! — убежденно сказал Димка. — Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверно.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

— Зачем ребенка бьешь? — вступилась Димкина мать. — Нашел, с кем связываться.

Головень покраснел еще больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами (за нее-то он и получил кличку) и ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождетесь, что я вас из дома повыгоню.

После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет.

После ужина Димка забился в сени, улегся на груду соломы за ящиками, укрылся материной поддевкой и долго лежал не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался Шмель и положил голову на плечо.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас.. Да разве поедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так — кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберешь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на что близко волостное село, а и то не поймешь, чье оно. Говорили, что занял его на днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зеленый?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та. — Все были люди как люди, а теперь, поди-ка...

В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приглатываясь видеть продолжение интересного, но не досмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель...

В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям желтыми хлебами играет ветер, и лазурно-покоен летний день. Непокойны только люди. Где-то за темным лесом протрещали раскатисто пулеметы. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался легкий кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам. Между тем Головень ходил злой. Каждый

раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то. «Винтовка! — удивился Димка. — Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протер затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская или немецкая? А может, там и наган есть?»

Как раз в это время утихло все кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Головень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал.

Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход — через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохотали потревоженные куры. Испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и, принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твердое. «Приклад!» Прислушался: на дворе — никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?»

Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько — рукоятка вверх подается. Отодвинул на себя до отказа. «Умею!» — горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинув от себя винтовку.

«И куда лезет, черт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружье на место. Запиратель почти все, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего! — испуганно ответил Димка. — Я спал... — И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как рассвирепавший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка. — Ни мамки, никого — конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не смей!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме, с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не смей! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после. — Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперед.

Отстал один и спросил строго:

— Ты кто такой?

— Здешний, — хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилия?.. На обратном пути проверим. — Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом.

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд.

2 Высохли на глазах слезы. Утихла понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил ожидать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была темная и спокойная, посередке, отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.

На том берегу, возле опушки никольского леса, заблестел тускло огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? — подумал он. — Пастухи разве?.. А может, и бандиты! Ужин варят — картошку с салом или еще что-нибудь такое...» Ему очень хотелось есть. В сумерках огонек разгорался все ярче и ярче, приветливо мигая издали мальчугану. Но еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбивая слова:

Та-ваа-рищи, та-ва-рищи,—
Сказал он им в ответ,—
Да здра-вству-ит
Ра-сия!
Да здра-вству-ит
Совет!

«А, чтоб тебе! Вот наяривает!» — с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидел небольшого худенького мальчишку, валявшегося возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А-а! — протянул тот, по-видимому, удовлетворенный ответом. — Драться, значит, не будешь?

— Чего-о?

— Драться, говорю... А то, смотри! Я даром, что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил, в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я Жиган, — горделиво ответил тот. — Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

— Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?.. А вот песни поешь здорово.

— Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно, хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем, — тогда «Алеша-ша» либо про буржуев. Белым — так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Расея», ну, а потом «Яблочко» — его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

— А ты зачем сюда пришел?

— Крестная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там! Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

— А потом куда?

— Куда-нибудь. Где лучше.

— А где?

— Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

— Приходи утром на речку, Жиган. Раков по норьям ловить будем!

— Не соврешь? Обязательно приду! — весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на темный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошел к ней и, потянувши за платок, сказал серьезно: — Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шел, потому Головень меня здорово избил.

— Мало тебе! — ответила она оборачиваясь. — Не так бы надо...

Но Димка слышит в ее словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев.

Пришел как-то на речку скучный-скучный Димка. — Убежим, Жиган! — предложил он. — Закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право!

— А тебя мать пустит?

— Ты дурак, Жиган! Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерется. Из-за меня мамку и Топа гонит.

— Какого Топа?

— Братишку маленького. Топают он чудно, когда ходит, ну вот и прозвали. Да и так надоело все. Ну, что дома?

— Убежим! — оживленно заговорил Жиган. — Мне что не бежать? Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем.

— Как собирать?

— А так: спую я что-нибудь, а потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтение, чтобы был вам не фронт, а одно развлечение. Получать хлеба по два фунта, табаку по осьмушке, не попадаться на дороге ни пулемету, ни пушке». Тут, как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

Димка подивился легкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже наоборот, когда Димка благосклонно отозвался о красных, «потому что они за революцию», выяснилось, что Жиган служил уже у красных.

Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зеленых, «потому что гусей они едят много». Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также у зеленых и регулярно получал свою порцию, по полгуса в день.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана бежать сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

— Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить, — заявил Димка, — а то как из дома, так и по соседям. А потом спичек...

— Котелок бы хорошо. Картошки в поле нарыл — вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принес с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

— Заперто только, а ключ с собой носит.

— Ничего! — заявил Жиган. — Из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна.

Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев.

— Зачем у сараев? — возразил Жиган. — Можно еще куда-либо... А то рядом с мертвыми!

— А тебе что мертвые? — насмешливо спросил Димка.

В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутые в бумажку три спички.

— Нельзя помногу, — пояснил он. — У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно.

И с этой минуты побег был решен окончательно.

А везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Еще ближе — несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандами, или банды за красноармейцами, или атаманы дрались меж собой. Крепок был атаман Козолуп. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей посматривали тяжело. Угрюмый атаман! Хитер, как черт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы, так же, как и он сам. Но с тех пор, как отбилась он из-под начала Козолупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега».

Засмеялся Левка, написал другой.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Объявить Левку и Козолупа вне закона», — и все. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. Уж на что дед Захарий! На трех войнах был. А и то, когда

садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец ухо отрубил, говорил:

— Ну и времечко!

Приехали сегодня зеленые, человек двадцать. Заходили двое к Головню. Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел на них с любопытством.

Когда Головень ушел, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в одну.

— Ди-мка, мне! — плаксиво захныкал Топ.

— Оставляю, оставляю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплеываясь, вылетел на двор.

Возле сараев он застал Жигана.

— А я, брат, штуку знаю.

— Какую?

— У нас за хатой зеленые яму через дорогу роют, а черт ее знает — зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

— Как же можно не ездить? — с сомнением возразил Димка. — Тут не так что-то. Не иначе, как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было еще немного: два куска сала, кусок вареного мяса и с десяток спичек.

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшейся к опушке никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на свое место, возле покривившегося крылечка. А когда сел, то подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И так прикидывал и эдак — ничего не выходит. Потому престольный в Ольховке уже прошел, а спасу еще рано. И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

— Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина. — Разве же после среды воскресенья бывает?

— Ото ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунулись любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля донесся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только еще резче и дольше:

«У-о-уу-уу...»

А потом вдруг как хряснуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тюпайся швидше, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое... Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим голосом:

— Ляг... ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше...

— Лежи, лежи! Вот придет гайдамак... он тебе!

В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так что зазвенели стекла окошек, и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» — подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Все стихло. Прошло еще с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату вошел вооруженный Головень.

Он был чем-то сильно разозлен, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

— Ах, чтоб ему!..

...Утром встретились ребята рано.

— Жиган,— спросил Димка,— ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

— О, брат! Было у нас вчера дело...

— Ты не ври только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился.

— А почему ты знаешь? Может, я кругом! — обиделся Жиган.

Димка сильно усомнился в этом, но перебивать не стал.

— Машина вчера езжала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила-дьякон в колокол: бум!..— сигнал, значит.

— Ну?

— Ну, вот и ну... Подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она было назад, глядь — ограда уже заперта.

— И поймали кого?

— Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят — дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убег. Бомбу бросил ря-адышком, у Онуфрихиной хаты все стекла полопались. По нем из ружей кроют, за ним гонятся, а он через плетень, через огороды да и утек.

— А машина?

— Машина и сейчас тут... только негодная, потому что, как убегать, один гранатой запустил. Всю искорежил... Я уж бегал... Федька Марьин допрежь меня еще поспел. Гудок стащил. Нажмешь резину, а он как завоет!

Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем происшествии. Зеленые ускакали еще ночью. И осталась снова без власти маленькая деревушка.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу.

Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки с насаженным гвоздем через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошел обедать.

Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараям.

Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. «Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти!» И он подошел, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой — нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом — нет!

— Ах, черти! — выругался он. — Это не иначе, как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж все сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

— Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито.

— Ел! — ответил тот. — Вку-усно...

— Вкусно! — напустился на него разозленный Димка. — А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дорогу что?.. Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!..

Жиган опешил.

— Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоро-овый!

— А отсюда кто взял?

— И не знаю вовсе.

— Побожись.

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал.

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врет.

И, глазами скользнув по соломе, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хворостине:

— Шмель, а ну поди сюда!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали. И, бросив теребить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

— Он сожрал, — с негодованием подтвердил Жиган. — И кусок-то какой жи-рный!

Перепрятали все повыше, заложили доской и привалили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра... хорошо!

— Темно ночью только,— с сожалением заметил Жиган.

— А что — темно? У нас ружья будут, мы и сами...

— Вот если поубивают...— начал опять Жиган и добавил серьезно: — Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

— Я тоже,— сознался Димка.— А то что, в яме-то... вон как эти.— И он кивнул головой туда, где покряхтывавшийся крест чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее. Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, улегшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелик? — с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

— Крысу чует,— шепотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: — Домой надо идти, Димка.

— Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы.

— Пойдем,— согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали.

Шмель поднялся тоже, но не пошел сразу, а остановился возле соломы и заворчал тревожно снова, как будто дразнил его кто из темноты.

— Крыс чует! — повторил теперь Димка.

— Крыс? — упавшим голосом ответил Жиган.— А только почему же это он раньше их не чуял?

И добавил негромко:

— Холодно что-то. Давай побежим, Димка!.. А большевик тот, что ушел, где-либо подле деревни недалеко.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаймы полчашки соли. А у нее в тот день рубаша с плетня пропала. Я пришел, слышу из сенец, ругается кто-то: «И бросил,— говорит,— какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал да и говорит: «О Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, поглядывая на Димку, и только когда тот нетерпеливо зашевелился, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошел в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидела меня, села на нее Горпина сей же секунд и велит: «Поддай ему, старый, с полчашки», а сама не поднимается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость. У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьезно. У другого забежали и заблестели.

И сказал Димка:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и все поодиночке.

На завтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошел полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной, у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго еще через двор проходили люди. Наконец пришел Головень, позвала Топа мать. И прокричала с крыльца:

— Димка! Диму-ушка! Где ты делся?

«Ужинать!» — решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

— Скорей, ты! У меня спина не каменная.

— Темно очень,— шепотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и спрыгнул.— Есть!

— Жиган,— спросил Димка,— а колбасу где ты взял?

— Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнем вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка — назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

— Ты зачем койбасу стащил?

— Это не стащил, Топ. Это надо,— поспешно ответил Димка.— Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Чирик-чирик!.. Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хоро-оший!

— Воробушков? — серьезно спросил Топ.

— Да-да! Вот, ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

— Прячь скорей!

— Давай! — и Жиган полез в щель, под крышу.

— Димка, тут темно,— тревожно ответил он.— Я не найду ничего...

— А, дурной, врешь ты, что не найдешь! Испугался уж!

Полез сам. В потемках нащупал руку Жигана, и почувствовал, что она дрожит.

— Ты чего? — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

— Там...— и Жиган крепче ухватился за Димку.

И Димка ясно услышал доносившийся из темной глубины сарая тяжелый, сдавленный стон.

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

3 В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения: «Крысы... Кто съел мясо?.. Рубашка... стон... А что, если?..»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут»,— подумал Димка и пополз. Завернул за груды рассыпавшихся необожженных кирпичей и остановился испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или еще почему-либо, только, всмотревшись воспаленными, мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Пить!

Димка сделал шаг вперед. Блеснула звездочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук Головня.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федькой, помогавшим матери тащить мокрое белье. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел оттуда, как Федька замедлил шаг, с любопытством поворачивая голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж, дьяволенок, чего ты завихлял»

ся?», — то Федька, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и когда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже ясней и внятней незнакомец спросил:

- Красные далеко?
- Далеко. И не слышать вовсе.
- А в городе?
- Петлюровцы, кажись...

Поник головой раненый и спросил у Димки:

- Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет.

- Жигану разве!
- Это, с которым вы бежать собирались?
- Да, — смутившись ответил Димка. — Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

- Ты чего? — спросил Жиган.
- Тише! Лезь сюда... Надо.
- Так ты позвал бы, а то на-ко... Камнем! Ты б еще кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и темный револьвер на соломе, Жиган остановился, оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

- Ну что, мальчуганы?
- Это вот Жиган! — И Димка тихонько подтолкнул его вперед.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти все время молча.

Пуля зеленых ранила человека в ногу; кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и измучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

— Мальчуганы! — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка еще раз узнал в нем незнакомца, крикнувшего Головню: «Не смей!» — Вы славные ребяташки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют... — Не должны бы! — неуверенно вставил Жиган.

— Как не должны бы? — разозлился Димка. — Ты говори: нет, да и все... Да вы его не слушайте, — чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу. — Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, все обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны, значит, ни в коем случае.

И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся еще раз.

За обедом Топ сидел-сидел да и выпалил:

— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты колбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой. К счастью, Головня не было, мать доставала похлебку из печки, а бабка была туговата на ухо.

И Димка проговорил шепотом, подталкивая Топу ногой:

— Дай пообедаю, у меня уже припасен.

«Чтоб тебе неладно было! — думал он, вставая из-за стола. — Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный железный гвоздь и отнес Топу.

— Большой больно, Димка! — ответил Топ, удивленно поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

— Что — большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу — и все. А тут долго сидеть можно: тут, тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашел у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решил раздобыть йоду.

Отец Перламутрий, в одном подряснике и без сапог, лежал на кушетке и с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда еще в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором приближении храмового праздника и неотделимых от него благодеяниях. И образы поросятины, кружков масла и стройных сметанных крынок дали, по-видимому, другое направление его мыслям, потому что отец Перламутрий откашлялся солидно и подумал о чем-то улыбаясь.

Вошел Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевел взгляд на Димку и спросил не поднимаясь:

— Ты что, чадо, ко мне или к попадье?

— К ней, батюшка.

— Гм... А поелику она в отлучке, я пока за нее.

— Мамка прислала. Повредилаь немного, так поди, говорит, не даст ли попадья малость йоду. И пузырек вот прислала махонький.

— Пузырек... Гм...— с сомнением кашлянул отец Перламутрий.— Пузырек — что!.. А что ты, хлопец, руки назади держишь?

— Сала тут кусок. Говорила мать, если нальет, отдай в благодарность...

— Если нальет?

— Ей-богу, так и сказала.

— О-хо-хо,— проговорил отец Перламутрий поднимаясь.— Нет, чтобы просто прислать, а вот: «если нальет»...— И он покачал головой.— Ну, давай, что ли, сало... Старое!

— Так нового еще ж не кололи, батюшка.

— Знаю и сам, да можно бы пожирнее, хоть и старое. Пузырек где? Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?

— Да в нем, батюшка, два наперстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял немного раздумывая.

— Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придет. Я прямо сам ей и смажу. А наливать... к чему же:

Но Димка отчаянно замотал головой.

— Гм... Что ты головой мотаешь?

— Да вы, батюшка, наливайте,— поспешно заговорил Димка,— а то мамка наказывала: «Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет перед лицом всевышнего дар сей все». Запомнишь?

— Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли — причем Димка подивился их необычайным размерам — и, прихватив сало, ушел с пузырьком в другую комнату.

— На вот,— проговорил он выходя.— Только от доброты своей...— И спросил, подумав: — А у вас куры несутся, хлопец?

— От доброты! — разозлился Димка.— Меньше половины...— И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьезно: — У нас, батюшка, кур нету, одни петухи только.

...Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И все же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чем-то.

— Ну что, мальчуганы, не слышать, как там?

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился, и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность, больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределенность.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришел он к сараям печальный, мрачный.

— Головень бьет...— пояснил он.— Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к батьке в Питер... Но никак.

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуска разные. Да билеты, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

— Если бы были красные, я бы тебе достал пропуск, Димка.

— Ты?! — удивился тот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: — А ты кто? Я знаю: ты пулеметный начальник, потому тот раз возле тебя солдат был с «лююисом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять — и да, и нет.

И с тех пор Димка еще больше захотел, чтобы скорее пришли красные.

А неприятностей у него набиралось все больше и больше. Безжалостный Топ уже пятый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то, что получал их, все-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:

— А сало все-таки старое, так ты бы с десяточек лиц за лекарство дополнительно...

— За какое еще лекарство?

Димка заерзал беспокойно на стуле и съежился под устремленными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику...— неуверенно ответил он.— У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю.— И потом добавил, поглядывая как-то странно: — А к тому же ты врешь, кажется.— И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли! Для всякой твари сей драгоценный медикамент? — с негодованием встал отец Перламутрий.— А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси.— При этом он поднял многозначительно

большой палец, перевел взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательным взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

— Димка, а говорят про нашего-то на деревне, — огорошил его при встрече Жиган. — Тут, мол, он, недалеко где-либо. Потому — рубашка... а к тому же Семка старостин возле Горпинино забора книжку нашел, тоже кровяная. Я сам один листочек видел. Белый, а в углу буквы «Р. В. С.» и дальше палочки, вроде как на часах.

Димке даже в голову шибануло.

— Жиган, — шепотом сказал он, хотя кругом никого не было, — надо, тово... ты не ходи туда прямо... лучше вокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупредили незнакомца.

— Что же, — сказал он, — будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, ничего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропадать...

— А если лепо?

— Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть, — вставил Жиган. — Кабы не теперь, я спел бы, — хорошая песня. Повели коммуниста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причине боремся, знаем, за что и умираем... Только ежели словами рассказывать, не выходит. А вот, когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, и те рты раскрыли, так тебя и забирает.

Домой возвращались поодиночке. Димка ушел раньше; он добросовестно направился к реке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошел ближайшим путем — через огороды. Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул кто-то. — Стой, собака!

Он испуганно шарахнулся, бросился в сторону, взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за штанину. С отчаянным усилием он лягнул ногой, по-видимому, попав кому-то в лицо. И, перевалившись через плетень на грядки с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту...

Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати минут, как в хату с ругательствами ввалился Головень и сразу же закричал на мать:

— Пусть лучше твой дьяволенок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью...

— Когда съездил? — со страхом спросила мать.

— Когда? Сейчас только.

— Да он спит давно.

— А, черт! Прибег, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она — спит! — И он распахнул дверь, направляясь к Димке.

— Что ты! Что ты! — испуганно заговорила мать. — Каким каблуком? Да у него с весны и обуви нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?.. Ты спятил, что ли?

Но, по-видимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошел в избу.

— Гм... — промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу. — Ошибка вышла... Но кто же и где его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга... — Потом помолчал и добавил: — А собаку-то вашу я убил все-таки.

— Как — убил?! — переспросила мать.

— Так. Бабахнул в башку, да и все тут.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в поддевку, дергался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько. Когда утихло все, ушел на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала, успокаивая:

— Ну, будет, Димушка! Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки еще яснее и ярче встал образ ласкового, помахиваю-

щего хвостом Шмеля, и еще с большей силой он за-
трясся, и еще крепче втиснул голову в намокшую от
слез овчину...

...— Эх, ты! — проговорил Димка и не сказал больше
ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь,
такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка?

— «Знал!» А что я говорил?.. Долго ли было кругом
обежать? А теперь что? Вот Головень седло налажи-
вает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к
Левке или еще к кому — даешь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его
взгляде только легкий укор, и сказал он мягко:

— Хорошие вы, ребята...— И даже не рассердился;
как будто не о нем и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бежали, как
всегда, по сторонам, ему не в чем было оправдыва-
ться да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на
вопрос:

— А красные в городе. Нищий Авдей пришел. Много,
говорит, и все больше на конях.— Потом он поднял
глаза и сказал все тем же виноватым и негромким
голосом: — Я попробовал бы... Может, проберусь как-
нибудь... успею еще.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив
серьезно остановившиеся на нем большие темные гла-
за мальчугана. И больше всего удивился откуда-то вне-
запно набравшейся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец ли-
сток из книжки. И пока он писал, увидел Димка в ле-
вом углу те же три загадочные буквы «Р. В. С.» и по-
том палочки, как на часах.

— Вот,— проговорил тот подавая,— возьми, Жиган...
ставлю аллюр два креста. С этим значком каждый сол-
дат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст на-
чальнику. Да не попадись, смотри.

— Ты не подкачай,— добавил Димка.— А то не бе-
рись вовсе... Дай я.

Но у Жигана снова заблестели глаза, и он ответил
с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло еще высоко над никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукою и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было торопиться, поэтому он свернул в кусты и пошел дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими желтыми цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Верст пять отмахал! — подумал он. — Хорошо бы дальше так же, без задержки».

Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клена по-вечернему звонко пересвистнула какая-то птичка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик.

Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

И он разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони.

Подошел.

— Откуда ты идешь?.. Куда?

— Оттуда... — И он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше. — С хутора я. Корова убежала... Может, повстречали где? Рыжая, и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без ее — хоть не ворочайся.

— Не видели... Телка тут бродила какая-то, так ту наши еще в утро сожрали... А тебе не попались подводы какие?

— Едут какие-то... должно, рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.





— Забирайся! — крикнул один, подводя лошадей. — Сядешь ко мне за спину.

— Мне домой надо, у меня корова... — жалобно завопил Жиган. — Куда я поеду?..

— Забирайся, куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты еще сболтнешь подводчикам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подводчикам, — ничего не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зеленых. Поехали рысью. В другое время это доставило бы ему очень большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно когда он понял из нескольких брошенных слов, что едут они к отряду Левки, ожидающемуся чего-то в лесу. «А ну, как Головень там, — мелькнула вдруг мысль, — да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги.

— Куда, дьяволенок? — круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища: и не крикнул сердито:

— Стой!.. Не стреляй: все дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган. Напролом через чащу, через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника и сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Левка! — подумал он. — Не иначе, как к нему Головень. — И сразу же сжалось сердце. — Хотя бы не успели до темноты: ночью все равно не найдут, а утром, может, красные...»

На дороге грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками, — догадался он. — Скорей надо, а тут на-ко: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью прямо навстречу ему вылетел торопившийся куда-то отряд. Не успел он опомниться, как оказался окруженным всадниками. Повел испуганными глазами. И чуть не упал со страху, увидав среди них Головню. Но, то ли

потому, что тот всего раз или два встречал Жигана, потому ли, что не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть, потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

— Хлопец,— спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами,— тебя куда дьявол несет?

— С хутора...— начал Жиган.— Корова у меня... черная, и пятна на ей...

— Врешь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган еще больше и ответил запинаясь:

— Да не тут... А как стрелять начали, испугался я и убежал...

— Слышали? — перебил первый.— Я ж говорил, что где-то стреляют.

— Ей-богу, стреляли,— заговорил быстро, начиная о чем-то догадываться, Жиган,— на Никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Левкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно заорал тот.— Как они смели!

— Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается старый черт...

— Слышали?! — заревел зеленый.— Это я обжираться?

— Обжирается,— подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница.— Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне — что? Это все ихние разговоры.

Жиган готов был выпалить еще не один десяток обидных для достоинства Козолупа слов, но тот и так был взбешен до крайности и потому рывкнул грозно:

— По коням!

— А с ним что? — спросил кто-то, указывая на Жигана.

— А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что еще так легко отделался.

«Сейчас схватятся,— подумал он на бегу.— А пока разберутся, глядишь — и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звезды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шел, тяжело дыша, то изредка останавливался — перевести дух. Один раз, заслышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей и хлебнул, розгоряченный, несколько глотков холодной воды. Один раз шарахнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо покривившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начало овладевать им. Бежишь, бежишь, и все конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадались на пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле костра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была темная дорога. И только соловей вовсю насвистывал, только он один не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот, в то время, когда Жиган совсем потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Еще новое! Теперь-то по какой?» И он остановился. «Го-го...» — донеслось до его слуха негромкое гоготанье. «Гуси!» — чуть не вскрикнул он. И только сейчас разглядел почти что перед собою, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь:

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос проговорил негромко:

— Господи, кого ж еще-то несет?

— Отворите! — повторил Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас спросил спросонок:

— Кто там?

— Откройте! Это я, Жиган.

— Какой еще, к черту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

— Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое. Васькой зовут... Я ж еще малый... А мне дорогу б спросить, какая в город.

— Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

— Так они ж обе с краю!.. Разве через дверь пойдешь!

Очевидно, раздумывая, помолчали немного за дверью.

— Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... не-ет! Мало что маленький. Может, за тобою здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— Тут недалеко, с версту всего... Сразу за опушкой.

— Только-то! — и, окрыленный надеждой, Жиган снова пустился бегом.

На кривых улочках его сразу же остановил патруль и показал штаб. Сонный красноармеец ответил нехотя:

— Какую еще записку! Приходи утром.— Но, заметив крестики спешного аллюра, бумажку взял и позвал: — Эй, там!.. Где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, развернул записку и, заметив в левом углу все те же три загадочные буквы «Р. В. С.», сразу же подвинул огонь. И только прочитал — к телефону: «Командира!.. Комиссара!», — а сам торопливо заходил по комнате.

Вошли двое.

— Не может быть! — удивленно крикнул один.

— Он!.. Конечно, он! — радостно перебил другой.

— Его подпись, его бланк. Кто привез?

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

— Какой он?

— Черный... в сапогах... и звезда у его прилеплена, а из нее красный флажок.

— Ну да, да, орден!

— Только скорей бы, — добавил Жиган, — светать скоро будет... А тогда бандиты... убьют, коли найдут.

И что тут поднялось только! Забегали все, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомленный Жиган несколько раз

повторявшиеся слова: «Конечно, армия!.. Он!.. Реввоенсовет!»

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стекла.

— Где? — порывисто распахнув дверь, вошел вооруженный маузером и шашкой командир. — Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой его, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными руками поднял его с земли и усадил на лошадь. И снова заиграла труба.

— Скорей! — повелительно крикнул кто-то с крыльца. — Вы должны успеть!

— Даешь! — ответили эхом десятки голосов.

Потом: — А-аррш!

И, сразу сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

...А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

— Уходи лучше домой, — несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

— Нет, — мотал он головой, — не пойду.

Выбрался из щели, разворошил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно.

Сидели молча, было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

— Я мамке сказал: может, говорю, к батьке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком напрасно треплешь!»

— Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чем-то раздумывая.

Наступил вечер. В сарае резче и резче проглядывала темная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробирающегося сквозь щели света.

— Слушай!

Димка задрожал даже.

— Слышу!

И незнакомец крепко сжал его плечо.

— Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донес их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?

— Нет, нет, Димка! Красным рано еще.

Все смолкло. Прошел еще час. И топот, и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот послышались близко-близко.

— И по погребам? И по клуням? — спросил чей-то резкий голос.

— Везде, — ответил другой. — Только сдается мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головень!» — узнал Димка, а незнакомец протянул руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес их возьми! Проканителились из-за Левки сколько!

— Темно! — повторил кто-то. — Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня доски сверху... чуть не в башку.

— А место такое подходящее. Не оставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

— Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костер. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клочок соломы.

Рассвет не приходил долго... Задрожала, наконец, зарница, помутнели звезды.

Скоро и обыск. Не успел или не пробрался вовсе Жиган.

— Димка, — шепотом проговорил незнакомец, — скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшое отверстие возле земли. Ты маленький и пролезешь... Ползи туда.

— А ты?

— А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя. Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей! — И незнакомец крепко, как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слезы подступили к горлу. И было ему страшно, и было ему жалко оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слезы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

«Тара-та-тах!» — прорезало вдруг воздух. — «Тара-та-тах! Ба-бах!.. Тиу-у, тиу-у...» — взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряженных обойм «лююисов» — все это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

— Чего ты, глупый? — радостно спросил тот.

— Да ведь это же они... — отвечал Димка улыбаясь, но не переставая плакать.

И еще не смолкли выстрелы за деревней, еще кричали где-то, когда затопали лошади около сараев. И знакомый задорный голос завопил: — Сюда! Зде-есь!

Отлетели снопы в сторону. Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо.

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появилось откуда-то — и командир, и комиссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой! И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

— Димка, — захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жиган, — я успел... назад на коне летел... И сейчас с зелеными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, так тот и свалился!..

— Ты врешь, Жиган... Обязательно врешь... У тебя и сабли-то нету, — ответил Димка и засмеялся сквозь не высохшие еще слезы.

Весь день было весело. Димка вертелся повсюду. И все ребятишки дивились на него и целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как после стада коров, намята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и красноармейцы, и командиры.

Написал он Димке всякие бумаги и на каждую бумагу печать поставил, чтобы не было никакой задерж-

ки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.

А Жиган среди бойцов чертом ходил и песни такие заворачивал, что только ну! И хохотали над ним красноармейцы и тоже дивились его глотке.

— Жиган! А ты теперь куда?

Остановился на минутку Жиган, как будто легкая тень пробежала по его маленькому лицу, потом головой тряхнул отчаянно:

— Я, брат, фьи-ить! Даешь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у них перенял:

Ночь прошла в полевом лазарети;
День весенний и яркий настал.
И при солнечном, теплом рассвете
Маладой командир умирал...

Хоро-ошая песня! Я спел — гляжу: у старой Горпины слезы катятся. «Чего ты,— говорю,— бабка?» — «Та умирал же!» — «Э, бабка, дак ведь это в песне». «А когда б только в песне,— говорит,— а сколько ж и взаправду». Вот в эшелонах только,— добавил он, запнувшись немного,— некоторые из товарищей не доверяют. «Катись,— говорят,— колбасой. Может, ты шантрапа или шарлыган. Украдешь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

— А давайте напишем ему, в самом деле,— предложил кто-то.

— Напишем, напишем!

И написали ему, что «есть он, Жиган, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность», а потому «оказать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».

И много ребят подписалось под той бумагой — целые пол-листа да еще на оборотной. Даже рябой Пантюшкин, тот, который еще только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы.

А потом понесли к комиссару, чтобы дал печать. Прочитал комиссар. — Нельзя,— говорит,— на такую бумагу полковую печать.

— Как же нельзя? Что, от ней убудет, что ли? Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

— Этот самый, с Сергеевым?

— Он, язви его шельма.

— Ну уж в виде исключения...— И тиснул по бумаге. Сразу же на ней РСФСР, серп и молот — документ.

И такой это вечер был, что давно не запомнили поселяне. Уж чего там говорить, что звезды, как начищенные кирпичом, блестели! Или как ветер густым настоем отцветающей гречихи пропитал все. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали дивчата звонко. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговых бревнах перед обступившей его кучкой молодежи, наигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньки в разбросанных домиках. Ушли старики, ребятишки. Но долго еще по залитым лунным светом улочкам смеялась молодежь. И долго еще наигрывала искусно лекпомова гармоника, и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всем отрядом незнакомец крепко пожал руки ребятишкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде,— проговорил он, обращаясь к Димке.— А тебя...— И он запнулся немного.

— Может, где-нибудь,— неуверенно ответил Жиган.

Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладины, а большие, глубокие глаза уставились вдаль, перед собой...

На дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нем — больше никого.

НОЧКА

Рассказ

ХОЗЯЙКА. Мне двенадцать лет было. Подружки мои еще в куклы играли да через веревочку прыгали, а уже я хозяйкой была. Сама и белье стирала, и по воду ходила, и кухарила, и полы мыла, и хлебы пекла...

Нелегко было, только я не жаловалась.

Мама у нас умерла. Папа второй год с белыми воевал. Жили мы вдвоем с братом. Ему уж тогда пятнадцатый год пошел, он в комсомоле состоял. А меня в комсомол не брали. Говорят — маленькая.

А мне обидно было. Какая же я, помилуйте, маленькая, когда я не только обед сготовить или что,— я даже корову доить не боялась!

НОЧКА. Корова у нас хорошая, красивая, во всем городе такой не сыскать. Сама вся черная, как ворона, и только на лбу белая звездочка. Зато и кличка у нее была подходящая — Ночка.

Это еще мама ее так назвала, еще теленочком. Я, может, за это и любила ее так, нашу Ночку, что она мамина воспитанница была.

Ухаживала я за ней — сил не жалела.

Бывало, встану чуть свет, сама не поем, а Ночке воды согрею, сена натаскаю,— «ешь, говорю, Ноченька, поправляйся». Потом доить сяду.

А как подою, Васю разбужу и скорей гоню Ночку в стадо.

А для меня это самое милое дело — корову в стадо гонять.

Бывало, меня соседки просят:

— Верочка, возьми и нашу заодно.

— А что ж,— говорю,— давайте!

Прихвачу штуки три-четыре — мне еще веселее.

Иду, кричу:

— Гоп! Гоп!

А коровы мычат, стучат, колокольчиками брякают. Так через весь город и топаем.

А потом — река. А на реке — мост.

Мы через мост идем: «Туп! Туп! Туп!»

А потом уж луга пошли. А за лугами лес. Ну, тут и прощаемся.

Я, правда, никогда сразу из леса не уходила. Утром в лесу хорошо. Другой раз возьму с собой шить или починить что-нибудь и сижу себе, ковыряюсь до самого обеда. А рассидишься если, так и уходить не хочется.

БАНДИТЫ. Правда, меня пугали, будто в лесу бандиты орудуют. Только я сама не верила. Мало ли что девочки брешут. Но потом и Вася мне однажды говорит: — Ходи осторожнее. В заречных, — говорит, — хуторах, действительно, орудуют...

А потом уж и по всему городу слухи пошли о бандах.

Такие о них ужасы рассказывали, будто они и живых в землю закапывают, и маленьких детей режут, и даже кошкам и собакам пощады не дают.

А у нас в городе в это время никакого войска не было. И некому было его защищать. Одни комсомольцы остались, вроде Васи нашего. Им на всякий случай оружие выдали. И Вася мой тоже какой-то наган завалящий получил. Но только на них не надеялись. Какие же это защитники — мальчишки желторотые.

Все ожидали, что вот-вот Красная Армия подойдет. Богунская дивизия тогда подступала от Киева.

Эту дивизию у нас в городе все и ночью, и днем ждали. А я больше всех ждала. Потому что в одном из полков этой дивизии служил наш папа.

А уж я о нем так соскучилась, так соскучилась, что и сказать не могу. Бывало, ночью проснусь, лежу и слушаю: не идут ли, не слышно ли? А потом в подушку забьюсь и плачу тихонько, чтобы Вася не услышал. А то ведь, если услышит, задразнится. Он и так меня плаксой называл. А я — ничего не скажу — любила поплакать.

ОДНАЖДЫ. Дело осенью было. Я уж давно с хозяйством управилась, обед приготовила, на стол накрыла — сижу, дожидаясь Васю. А Васи моего чего-то нет и нет. А мне уж за Ночкой пора — уж доить время.

Вдруг слышу: за окном где-то — бах! бах!

Я думала — это бочки с водой по улице катятся.

А потом, как еще раз бабахнуло, — «нет, — думаю, — это не бочки... Это, пожалуй, скорее всего, с винтовок стреляют».

«Ох, — думаю, — не папина ли это дивизия подходит?» Только подумала, слышу: в сенях со всего размаху дверь как хлопнет. Вася вбегает.

Сам бледный, рубаха на шее расстегнута, козырек набок свернулся.

Я испугалась даже. На скамеечку даже присела.

— Что, — говорю, — Васенька? Что такое? Что с тобой?

А он на меня дико так посмотрел и говорит:

— Банда идет!

— Какая банда?

— Такая вот... Соколовского атамана банда. С Богуславского хутора хлопчик сейчас прискакал. Богуславку сожгли, сюда идут.

— Ой, — говорю, — что ж это будет?

— Ничего не будет, — говорит Вася. — Защищаться будем. Я за наганом пришел. У нас в комитете сбор.

Я не подумала, вскочила. Говорю:

— Я тоже пойду.

Рассердился Вася.

— Ну да! — говорит. — Только тебя там и ждали, Матрена Ивановна!..

Обиделась я, еле слезы сдержала. Но не сказала ему ничего, отвернулась.

А Вася наган из-под подушки достал, почистил, подул на него зачем-то, сунул за пояс и побежал.

А я посидела, подождала да и за ним следом.

В КОМИТЕТЕ. Прибегаю в комитет, а там уж народу — не протолкаться. Там комсомольцам — мальчишкам и девчонкам — оружие выдают. Кому — наган, кому — винтовку, а кому — только один штык от винтовки.

Я потолкалась да и тоже в очередь стала.

Подошла очередь, я говорю:

— Дайте и мне.

Оттолкнули меня. Говорят: — Иди, не мешай!

Я говорю:

— Дайте, пожалуйста! Я ж тоже хочу город защищать.

— Иди,— говорят,— не путайся.

Я говорю:

— Вы думаете, я маленькая? Я же не маленькая. Я — сильная. Во, посмотрите, какие мускулы у меня...

Тогда этот парень, который оружие выдавал, говорит:

— Ну, на, попробуй.

И винтовку мне подает.

Я винтовку взяла — и чуть на пол не села. Действительно, хоть мускулы у меня и крепкие, а — тяжело. Я говорю:

— Вы мне дайте — знаете, бывают такие маленькие... карабины, что ли...

— Эва,— говорит,— чего! Может, тебе еще игрушечный пугач выдать? Иди, не задерживай, некогда...

ПОДСЛУШАЛА РАЗГОВОР. Я в сторону отошла, слышу: ребята судачат о чем-то.

— Мост,— говорят,— сейчас взрывать будут.

Все говорят:

— Правильно! Пусть через реку сунутся — без моста-то.

А один говорит:

— А что толку-то? Мост! Они, если захотят, и по плотине у Стахеевской мельницы переберутся.

— Ну, это положим. Кто им, интересно, покажет эту плотину! О ней ведь и в городе не каждый знает.

Я сразу и не поняла, о чем они там говорят. Какой мост? Почему взрывать? А потом, как вспомнила, что у нас в городе всего один мост,— догадалась. Значит, они хотят бандитов от города отрезать. Ведь, если моста не будет, им сюда не попасть.

«Ловко,— думаю,— придумали!.. Хоть и мальчишки, а ничего, соображают...»

Подумала так, и вдруг меня за плечо кто-то как схватит. Оглянулась — Вася.

— Ты что? — говорит.— Тебе кто позволил?

Я хоть и не боялась его ни капельки, а все-таки испугалась.

— Я,— говорю,— не зачем-нибудь пришла. Я — просто так, поглядеть.

— А ну, домой сию же минуту!

Рассердился.

— Мне,— говорит,— перед отцом за тебя отвечать!
— Да? — говорю.— А за тебя, интересно, кому отвечать?

— Еще рассусоливать?! Пигалица!.. Марш!!

Ну, я спорить не стала больше, поглядела на него как следует и пошла.

ВЗРЫВ. До угла не успела дойти — как бахнет. В ушах зазвенело. И даже в глазах темно стало.

Оглянулась — все небо черное. И сразу на улице дымом запахло.

Я думаю: «Что это? Откуда?» А потом вспомнила: «Мост!»

Очень мне хотелось на реку побежать, поглядеть, как этот взорванный мост гореть будет. Но не пошла.

«Нет,— думаю.— Надо и правда домой спешить. А то я даже и дверь на замок не закрыла. Да и поздно уж — пора за Ночкой в стадо бежать...»

Подумала так и похолодела.

— Ой, батюшки! Милые мои! Ночка-то! Ночка-то ведь моя — за рекой?!

«Что же мне делать? — думаю.— Миленькие!..»

У меня даже слезы из глаз брызнули.

Закричала я тут, как сумасшедшая:

— Ноченька моя! Ночка!

И побежала к реке.

МОСТ ГОРИТ. Я думала,— может, еще проскочить успею.

Да нет, где уж тут проскочишь... Еще издали, за две улицы, слышно было, как трещали в огне сухие сосновые балки.

Люди бежали к реке с баграми. Наверное, не знали, в чем дело. Думали, что пожар.

А на берегу уж весь город собрался. Я еле протискалась.

Все шумят, кричат — радуются, что бандитов обманули. А я стою, как дура, и плачу...

Тут уж и думать нечего было, чтобы на ту сторону пробиться. Из-за дыма да из-за огня даже не видно было, что на той стороне делается.

Вдруг мне послышалось, будто на том берегу теленок закричал. А потом колокольцы как будто звякнули. Потом слышу: коровы мычат.

А уж в толпе кто-то кричит:

— Стадо идет! Стадо идет! Куда они? Гоните их! Ведь сгорят! Живые сгорят...

А я, хоть и на цыпочки встала и шею вытянула, а никакого стада не вижу. Только дым и огонь вижу, и только слышу все ближе и ближе:

«Му-у-у-у! М-у-у! М-у-у-у!»

Да так жалобно, так печально, что и не хочешь плакать, а заплачешь.

ПЛОТИНА. «Ну — думаю, — пропала моя Ноченька».

И тут я вспомнила о Стахеевской мельнице.

«А что? — думаю. — Попробовать разве?»

Я даже не подумала о том, что Стахеевская мельница далеко, что туда полчаса бежать надо.

«Ничего, — думаю. — Как-нибудь добегу. Через плотину переберусь, корову найду и обратно. Бандиты еще и подойти не успеют».

Но до мельницы мне добежать не пришлось.

Только я из толпы выбралась, не успела на дорогу выйти, вижу — навстречу Вася идет. И с ним еще человек пять комсомольцев.

Вася и рта раскрыть не успел, а уж я ему говорю:

— Не ругайся, Васенька! У нас беда.

— Что такое?

— Ночка у нас на той стороне осталась.

Он побледнел весь. Потом говорит:

— Плевать. Ничего с ней не будет.

Я говорю:

— Как это ничего не будет? А если ее подстрелят?

— Ну и пусть, — говорит, — подстрелят. Не в этом счастье... Беги домой. Сейчас у нас тут стрельба начинается. Бандиты подходят.

Тут я не выдержала и говорю:

— Нет, ты как хочешь, Васька, а я домой не пойду. Я лучше к Стахеевской мельнице побегу.

— Это зачем же? — говорит.

А один комсомолец языком прищелкнул и говорит:

— Опоздала, девочка!

— Как это опоздала?

— Да так. Опоздала трошки. Наши ребята только что побежали плотину взрывать.

ДЯДЯ ФЕДОР. Что же мне делать было? Домой бежать? Нет, не могла я домой бежать — ноги не шли.

На берегу уж никого не осталось, все куда-то спрятались. Только я одна сидела у самой воды и смотрела на тот берег. А мост все еще горел. И вода вокруг него была красная, огненная, блестящая. Пар над водой клубился. Что-то шипело, ломалось, трещало... И мне все чудилось, что на той стороне коровы мычат. А может быть, и не чудилось, может быть, они, и правда, мычали.

Вдруг где-то близко-близко захлопали по воде весла.

Я голову подняла — вижу: лодка плывет. А в лодке знакомый старик — дядя Федя, охотник.

Он меня тоже заметил, положил весла и кричит: — Эй! Кто там? На берегу! Тетенька!

А я и ответить не могу. Отвернулась и поскорей слезы глотаю. Тогда он к берегу пристал, поглядел и узнал меня.

— О! — говорит. — Тетенька-то знакомая. Ты чего рвешь, тетка?

Ну, я ему все рассказала — сквозь слезы-то. Он помолчал, веслом поиграл и говорит:

— Жалко корову.

Потом еще подумал, в затылке почесал, крикнул и говорит:

— Э, была не была! Давай садись поскорей в лодку. Поедем твою буренушку спасать...

У меня сразу и слезы высохли. Я сама лодку от берега отлихнула, на ходу вскочила; дядя Федор ударил по воде веслами, и наша лодочка на всех парах полетела на тот берег.

УСПЕЕМ ЛИЛИ НЕ УСПЕЕМ? Я все думала:

«Успеем или не успеем?»

И все на тот берег поглядывала. А там у самого берега очень густой кустарник рос. И вот, я помню, думаю:

«Если мы там, у этих кустов, пристанем, — это хорошо. Там можно и лодку спрятать, и самим притаиться, если надо будет».

Дядя Федор изо всех сил веслами работал. А мне казалось — тихо плывет. Я, помню, даже подогнала его:

— Дядя Федор! Давай нажмем! Дядя Федор! Поскорей, пожалуйста!..

А он только покряхтывал да головой кивал: дескать, ладно, не торопись, успеем...

Вот уж до того берега совсем близко осталось. Вот уж травой запахло. Уж листики на кустах видно стало.

Я на носу сидела. Мне не стерпелось, я встала; думаю — сейчас соскочу на берег. Уж и место себе глазами выбираю посуше.

Вдруг что-то как хрустнет. Я думала — это днище о песок задело. А потом слышу:

— Стой! Кто такие?

Дядя Федор лодку с разгону как повернет. Зубами как заскрипит.

— Садись, — говорит, — девка! Живо! Назад!

А я — не знаю, что со мной стало, откуда у меня храбрость взялась. «Нет, — думаю, — уж коли так случилось, назад не поеду».

Взяла да и прыгнула в воду. И — бегом к берегу.

А уж над головой у меня пули свистят. Одна, другая, третья.

Оглянувшись, вижу: дядя Федор далеко. Саженой двадцать уж отмахал. Лодка у него как моторная бежит. Пена вокруг. А весла над головой так и мелькают, так и мелькают, будто крылышки стрекозиные...

ДОПРОС. Я когда в воду прыгнула, мне не страшно было. А как увидела этих бандитов, — ноги затряслись.

Их там немного было: человек пять или шесть. Но я хоть и раньше о них слыхала, все-таки не думала, что эти бандиты такие страшные.

Все они с ног до головы оружием обвешаны: бомбами, кинжалами, револьверами. Одеты не по-военному, а как-то чудно, будто на маскарад вырядились. Кто в офицерской шинели, кто в бушлате, кто в шубе овчинной. У одного на голове фуражка без козырька, у другого — папаха, у третьего — этакий, как у нас говорят, бриль соломенный. У одного — косынка шелковая в полосочку, а еще у одного — так целая дамская шляпа с пером и с вуалькой.

У меня голова завертелась, когда я на них посмотрела.

Мне бы бежать надо, пока они там в дядю Федю стреляли. А я — не могу. Ноги не двигаются. Стою

по колено в воде и смотрю, как наша лодочка от бандитов удирает.

Дядя Федор так и ушел от них невредимый.

Рассердились бандиты. Плюнули. Заругались. И сразу на меня накинулись.

— Ты кто,— говорят,— такая? Тебе что здесь требуется?

А я забубнила чего-то, заплакала. Потом говорю:

— Я, дяденьки, за Ночкой приехала.

— Ты зачем врешь? — говорят.— За какой дочкой? Какая у тебя может быть дочка?

Я говорю:

— Да не за дочкой, а за Ночкой. Это корова у нас так называется...

Который в шляпе с пером приставил к моему носу наган и говорит:

— А это вот нюхала? А ну, говори правду, а не то зараз дух вышибу...

И так наганом нажал, что носу больно стало.

Я еще громче заплакала и говорю:

— Я вам правду сказала.

— Нет, ты неправду говоришь! Ты врешь! Отвечай: кто тебя сюда послал?

Я говорю:

— Никто меня не посылал. Я за коровой приехала. Пустите меня, пожалуйста, у меня корова с утра недоенная ходит.

Они друг на дружку посмотрели, головами показали и говорят:

— Ловко придумано. Ничего не скажешь...

А потом этот, который в шляпе, взял меня за плечо, сдвинул его со всей силы и говорит:

— А ну, пошли к атаману. Разберемся...

КОРОВЫ. Я всю дорогу плакала. Да так еще плакала, так орала, что даже бандиты не вытерпели. Один какой-то с бородой, в бриле соломенном, остановился и говорит:

— Тьфу! Не могу. Все уши заложило от ее крика.

Тут и другие остановились. Говорят:

— А ну ее! Таскаться с ней... Может, она, и верно, за коровой приехала!

А тот, который в шляпе, ногой топнул и говорит:

— Брось! Знаем мы, какие тут у них коровы. Никаких тут коров нема! Тут...

И только сказал «тут» — будто назло ему где-то впереди как загудит:

«М-у-у-у-у!..»

Я сразу очухалась и плакать перестала.

Вижу: навстречу нам из лесу на лужок выходят коровы. Впереди — белая, за ней — пегая, потом еще какие-то, а потом — кто вы думаете? — а потом вижу — Ноченька, красавица наша, идет!

Я как закричу:

— Вот она! Вот она, моя корова! Видите — черная, которая с беленькой звездочкой!

И бежать уж хотела. А бандит в шляпе схватил меня за плечо и говорит:

— Стой!

Потом говорит:

— Вот я тебе что скажу. Это твоя корова? Да? Так ты ее позови. Кликни. Если она отзовется, если пойдет, — значит, правда. А если не пойдет, — значит, неправда, значит, ты брешешь, значит, ты — красный разведчик.

ИСПЫТАНИЕ. Я обрадовалась. Говорю:

— Ладно!

А сама думаю:

«А вдруг не пойдет Ночка? Вдруг не откликнется?»
Ведь все-таки, сами понимаете, это корова, а не собака...

Вздохнула я тихонечко и говорю:

— Ноченька! Ночка!..

Она — хоть бы что. Даже головы не повернула. Идет, не спешит, травку жует.

Тогда я погромче говорю:

— Ночь, Ночь, Ноченька!

Вижу — Ноченька голову подняла, губами шевелит, будто воздух нюхает. А потом в мою сторону посмотрела и пошла. А я — к ней навстречу.

За шею схватила и — целовать. И опять чуть не плачу.

— Ноченька ты моя, Ноченька! — говорю. — Бедная ты моя, бедная! Вымечко-то у тебя как разбухло. Пить ты, наверное, хочешь, бедняжка!..

А Ночка меня узнала, трется об меня и локоть мне своим шершавым языком лижет.

Тут уж, конечно, бандитам пришлось поверить, что я за коровой приехала, а не за чем-нибудь. Даже этот, который в дамской шляпе, и тот поверил.

— Ну что ж,— говорит.— Твое счастье. Шут с тобой! Забирай свою дочку или бочку и катись отсюда.

А я думаю: «Куда же мне катиться?»

Потом думаю:

«Ясно — куда. К Стахеевской мельнице. Сейчас, как они только уйдут, я потихонечку по кустикам да по залескам и погоню мою Ночку к плотине. Может, успею еще. Может, еще наши ребята, на счастье, не взорвут ее к тому времени...»

АТАМАН СОКОЛОВСКИЙ. Но и тут мне не повезло.

Только мы с бандитами разговор кончили, не успели попрощаться, слышу: копыта стучат. Вижу: из леса на лужайку всадники скачут.

Мои бандиты, как увидели их, испугались чего-то, побледнели.

— А ну,— говорят,— ребята, сторонись! Атаман едет!

А он, атаман этот, к ним подскакал, плеткой взмахнул и кричит:

— Вы чего тут треплетесь?.. Варнаки!..

Сам он усатый, в папахе, седло у него шелком вышито, а на боку целых две сабли — одна с золотой ручкой, а другая с серебряной.

Бандиты, я вижу, еще больше испугались, потемнели все и говорят:

— Да ты не ругайся, Соколовский! Чего там. Мы же в разведке тут.

А он их не слушает. Кричит:

— Какая разведка? Какие вы, к черту, разведчики? Пока вы тут баклуши бьете, красные черти мост успели спалить!..

Бандиты ему говорят:

— Мы же не виноваты.

А он им:

— Не виноваты?!

Раскраснелся весь, зубами залязгал.

— Я вот,— говорит,— вас всех сейчас постреляю за такое дело.

Потом он меня увидел и говорит:

— А это кто такая?

— А это, — говорят, — девочка. За коровой пришла.

Он еще больше покраснел, даже позеленел и говорит:

— Видали? Красные там оборону готовят, мосты жгут, а они тут, черти, с грудными младенцами прохлаждаются!

Я не обиделась, правда, что он меня грудным младенцем назвал, но только думаю — надо сматывать удочки. А то, глядишь, и тебе попадет от такого бешеного.

Их уж там полная лужайка набилась, этих бандитов. Кто на коне, кто пеший... Коляска еще какая-то приехала. Шумят, орут, ругаются на чем свет стоит.

Я думаю:

«Ну, до свидания. Я пошла».

Подняла какую-то хворостинку, огляделась и под шумок погнала свою Ночку в кусты.

„КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ“. До кустов не дошла — слышу за спиной: — Эй, дивчина!..

Оглянулась — вижу: ко мне атаман подъезжает.

У меня сердце захолонуло: «Что еще? — думаю. — Этак, — я думаю, — с вами и через час до плотины не доберешься».

А он на меня зверем посмотрел и говорит:

— Ты тутoshняя?

Я говорю:

— Да, тутoshняя.

Тогда он пониже ко мне нагнулся, по сторонам посмотрел и говорит:

— Скажи, далеко отсюда будет Стахеевская мельница?

У меня сразу и хворостинка на землю полетела. Меня будто кирпичом по голове стукнули. Даже губы затряслись. Я говорю:

— Какая мельница? Не знаю я никакой мельницы. Никакой мельницы тут нет.

— Как это нет? Ты зачем брешешь? Нам же хорошо известно, что тут где-то есть мельница, и около мельницы — плотина.

У меня в голове мысли, как колесики в часах, завертелись. Я думаю:



«Как же это? Откуда они узнали? Ведь если они раньше, чем плотину взорвут, до нее доберутся, это ж — городу крышка. Это же значит, что они у нас всех перережут. Вы посмотрите — их сколько? Она — у них и пулемет, и второй пулемет из коляски торчит... А у наших мальчишек — только ружья да наганы заржавленные...»

Я думаю:

«Нет, нет. Надо что-то такое придумать. Надо их обязательно задержать, обмануть. Давай, — думаю, — покажу им не в ту сторону. Пускай-ка побегают. Пока они там разберутся, пока догадываются, а уж от плотины одни щепочки останутся!»

Все это я в одну секунду обдумала.

Атаман говорит: — Ну что? Вспомнила?

А я перед ним дурочкой представилась и говорю: — А-а! Это вы про плотину спрашиваете? Так это ж далеко. Это — в ту сторону. Это за мостом...

Он говорит: — А ну, проводи нас.

ВЛИПЛА. Уж этого я никак не ожидала.

«Вот, — думаю, — влипла, девочка!»

Ну, сами подумайте, — что мне делать было?

Отказываться? Попробуй, откажись — он тебя так плеткой погладит, что от шкуры ничего не останется. А если не откажусь — тоже хорошего мало. Куда ж их вести? Не в ту сторону? Так они тебя после в куски разорвут, из пулемета застрелят.

Да, ничего не скажу, испугалась я в эту минуту. Даже подумала: не сказать ли им правду?

А потом, как вспомнила, что в городе одни мальчишки да женщины остались, — стыдно мне стало.

«Э, — думаю. — Ладно! Чего там! Уж коли назвался груздем — полезай в кузов».

Думаю: «Так и быть! Поведу их не в ту сторону».

В ЛЕСУ. А уж Соколовский командует:

— Построиться!..

Вот они построились кое-как — конные на коней полезли, пешие ремни на винтовках подтянули, — и вся эта банда, вся орава двинулась за мной следом.

Впереди у нас, за самого главного командира, Ночка моя выступает. За ней — я с хворостинкой. Со мной

рядом — атаман Соколовский на кауrom коне, а за ним следом — его есаулы, помощники и вся шайка.

Идут они как попало: где у них конные, где пешие — не разберешь. Атаман на них кричит. Сами они ругаются. И на меня тоже все время покрикивают. — Эй, — говорят, — босоногая! Чего спишь? Гони свою тварь, а то сейчас ее на говядину пустим...

А я не спешу, не тороплюсь. Думаю: «Куда мне спешить? Пока я веду вас, голубчики, ничего вы со мной не сделаете. А вот потом что будет — это другое дело. «Ох, — думаю, — лучше об этом сейчас и не думать...»

ПУГАЮ БАНДИТОВ. Я только об одном думаю: скоро ли взрыв-то будет? «Что ж они, — думаю, — черти, копаются там?» Ведь рано ли, поздно ли бандиты очухаются, вернутся. Тогда уж поздно будет плотину взрывать. Неужели они, косопалые, до сих пор до мельницы не могли добраться?

А уж мы из лесу вышли. Опять по реке идем.

Над рекой туман. Уж темнеть стало. В городе на той стороне желтые огоньки замигали. И я как увидела эти огоньки, — мне до того худо стало, до того невесело, так мне домой захотелось, что прямо хоть в воду кидайся...

Я даже плакать опять потихоньку принялась.

Мне и себя-то до смерти жалко. И Ночку жалко. Бедняжка за день набегалась, нагулялась, — теперь еле бредет, еле ногами переступает...

Да и бандиты, я вижу, тоже чего-то приуныли маленько.

Атаман уж сердиться стал. То и дело спрашивает:

— Ну, что? Скоро ли?

Я говорю:

— Скоро. Скоро.

Он говорит:

— Да знаешь ли ты, где плотина-то? Может, ты путаешь чего-нибудь?

Я говорю:

— Нет, не путаю.

— Ты сама-то была на мельнице? Какая она — плотина? Широкая?

Я говорю:

— Очень широкая.

— Тачанка пройдет?

— Нет,— говорю,— тачанка, пожалуй, не пройдет.

Это я нарочно сказала. Я думала, может, они испугаются и не поедут дальше, если тачанка-то у них не пройдет. Но, вижу,— нет, не испугались. Едут.

Они меня по дороге много о чем расспрашивали. И сколько в городе красных, и какие части, и много ли у них при себе оружия. А я, хоть и знаю, что мало, а говорю:

— Ох, до чего много! И винтовки, и пулеметы, и револьверы.

Они только посмеиваются.

— Да ну? — говорят.— Неужели не врешь? Неужели даже револьверы?

Я говорю:

— А что вы думаете? Даже пушка есть. Я своими глазами видела: у самой плотины стоит. Вот такая пушица — с колесами.

Я думала, что они хоть пушки-то испугаются. Нет, Опять смеются.

— Ну, что ж,— говорят.— Пойдем, побачим, що це за пушка с колесами...

НАКОНЕЦ, ГРОХНУЛО. А потом и смеяться перестали. Не до смеху им.

Только и слышу:

— Ну что? Скоро ли мельница?

А я им только одно говорю:

— Скоро. Скоро. Успеете.

А сама думаю:

«До коих же пор я им головы морочить буду? Ведь этак,— думаю,— пожалуй, я могу их до синего моря довести».

И только подумала — слышу:

«Бах! Трах! Трах!»

Три раза подряд как грохнет.

«Ну,— думаю,— слава тебе, господи,— плотину взорвали...»

А бандиты остановились, перепугались. Кричат:

— Що це таке?

— Что такое?

Лошади у них все в одну кучу сбились. Зафыркали, захрипели. Коляска куда-то в канаву въехала. Такой шум поднялся,— хоть уши пальцами затыкай.

Атаман Соколовский наган из кобуры выхватил. Кричит:

— Эй, вы!.. Тихо там! Не наводи панику...

Потом ко мне повернулся и говорит:

— А я думал — ты врешь.

Я думаю:

«Ну что ж. Правильно. Вру. А в чем дело?»

— А ведь девчонка-то правду сказала. И верно, оказывается, семидюймовка у них.

Я думаю: «Какая семидюймовка?»

Посмотрела за реку. А там в эту минуту что-то как вспыхнет, как ухнет.

И почти сразу же где-то совсем рядом, в кустах, за моей спиной, взорвался орудийный снаряд.

Меня даже воздухом в сторону откинуло.

ПОД ОБСТРЕЛОМ. Я, помню, еще успела подумать:

«Что такое? Так, значит, это не плотина была? Значит, это из пушек стреляют? Откуда же,— думаю,— пушки у наших?»

Но тут меня чуть не задавили. Бандиты от страха прямо с ума спятили. Такой у них поднялся галдеж, такая свалка, что и рассказать не могу.

Атаман Соколовский кричит:

— Стой! Стрелять буду!

А они и не слушают его — гонят куда попало. Коляска у них трещит. Лошади спотыкаются, падают...

Ночка моя, бедняжка, мычит, мечется между ними. А они и внимания не обращают, дуют себе напролом.

А тут еще, как нарочно, пулемет затрещал из-за реки. Так уж тут и сам Соколовский не выдержал. Стегнул коня, крикнул: «За мной!» — и вперед ходу.

И мы с моей Ночкой тоже бежать припустились. Только мы не вперед, а в кусты.

ДО СВИДАНИЯ, НОЧКА. Я думаю:

«Откуда же пушки взялись? Ведь не было! Ни одной не было».

И вдруг мне как будто подсказал кто-то:

«Так это же папа! Папина дивизия подошла!»

У меня даже голова закружилась, как только я подумала об этом.

«Ну, конечно же,— думаю, папина дивизия в город пришла. Потому и плотину, наверно, не взрывали. Теперь их там много, теперь им бояться нечего... Теперь уж небось бандитам не поздоровится...»

И вдруг я вспомнила, что ведь бандиты уходят, что ведь я сама увела их подальше от города...

Меня будто крапивой стегнули...

«Что же я наделала? Дура! Ведь их потом не найдешь. Ведь они, если в лес уйдут, их полгода потом ловить придется!»

А уж из города, вижу, и стрелять перестали. Думают, наверно: ушли бандиты...

«Как же,— думаю,— их задержать? Что бы такое придумать?» И придумала все-таки.

— А ну,— говорю,— Ноченька, до свидания, беги-ка ты домой одна.

Подхлестнула ее хворостинкой, а сама повернулась и — бегом, догонять бандитов.

БАНДИТЫ ХОТЯТ МЕНЯ ЗАРУБИТЬ. Они еще далеко не успели уйти.

Чего у них там случилось — не знаю, только вижу: стоят, окружили атамана своего, кричат, руками размахивают.

Я еще до них и добежать не успела, а уж атаман как будто ждал меня.

— Вот,— говорит,— она! Здесь она!

Потом говорит:

— Ну! Где ж плотина-то?

А я задрожала вся, руки перед ним ладошками сложила и говорю:

— Ой, дяденьки, миленькие!.. Вы только не сердитесь, не ругайтесь...

— Ну, что еще,— говорит,— такое?

— А я,— говорю,— ошиблась маленько. Плотина-то ведь в той стороне.

— Как,— говорит,— в той стороне?

— Да так,— говорю.— Вы уж давеча больно громко орали на меня. Я с перепугу-то все и перепутала.

Он свою серебряную саблю выхватил и говорит:

— Ты что?!

Потом говорит:

— На обман взяла? Издеваешься над нами?

Тут из толпы этот, в шляпе который, выскочил и говорит:

— Рубай ее, атаман! А ну, рубай ее, красную гадину!

Тут и другие, слышу, тоже кричат:

— Обманщица!

— Обдурила нас!

— Застрелить ее надо!

— Стреляй в нее, атаман!

Я думаю: «Ну, что ж! Сейчас застрелят».

Зажмурилась даже. Потом говорю:

— Я ж не нарочно.

И заплакала.

Атаман меня за плечо схватил, в глаза посмотрел и говорит:

— Так, значит, ты говоришь, плотина — там, в той стороне?

— Там, — говорю. — Вот, честное слово, там.

Он говорит:

— А ну, становись на колени.

Я не подумала — стала.

— Перекрестись, — говорит.

Я и перекрестилась.

Тогда он саблю обратно вложил, по рукоятке ладошкой похлопал и говорит:

— Если обманешь, сам на месте тебя вот этой саблей зарублю.

Потом на коня вскочил и кричит:

— Эй вы, каиново семя, поворачивай!.. Конные вперед, переменным аллюром — за мной!..

Гикнул, свистнул и вдруг коня придержал, нагнулся, схватил меня под мышки и — к себе в седло.

— А ну, — говорит, — показывай нам дорогу.

Потом еще раз свистнул, лошадь рванула, и я чуть из седла не вылетела.

НАЗАД В ГОРОД. Я даже кричать не могла. Я будто вся деревянная стала. Лошади в холку вцепилась, зажмурилась и глаз не разжимаю.

А меня так и кидает, так и подкидывает.

Соколовский орет:

— Гей! За мной! Вперед! Не отставай!..

Сзади свистят, улюлюкают, плетки щелкают, копыта стучат.

Я глаза приоткрыла — вижу: мы уже лесом несемся.

Над головой только темные ветки мелькают.

Я думаю:

«Куда же мы едем? В город? Ведь там же красивые. Ведь папина дивизия пришла. А может быть, — думаю, — и не пришла никакая? Может быть, я дурака сваяла? Может быть, я в безоружный город бандитов веду?»

Подумала об этом, и даже холодно стало, будто мне снегу за шиворот насыпали.

ВСТРЕЧА. Но до города мы так и не доехали. Не успели. Только, я помню, мы с бандитами из лесу выскочили, — у меня над головой что-то как засвистит.

И не успела я голову наклонить, а уж слышу — Соколовский кричит:

— Стой!..

Лошадь под ним на дыбы взвилась. Удилими зазвенела. Задние на него налегли. Все смешались.

А уж где-то впереди слышу:

— Ура-а! Ура-а! Ура-а!

Я лошадь за шею обхватила, высунулась и вижу: бегут нам навстречу люди. И хоть они и далеко еще, а уж вижу, что это не просто люди, а военные: в шинелях, с винтовками со штыками... И столько их там бежит, что и сосчитать нельзя. А впереди на коне командир скачет и наганом над головой размахивает...

Я его еще и разглядеть не успела, а уж у меня дух захватило и сердце в груди заколотилось.

Я, как угорь какой-нибудь, из седла выскользнула, на землю прыгнула и — бегом, навстречу...

— Папа! — кричу. — Папочка! Папка!

А за спиной слышу:

— Стой! Гадина!

Оглянулась — несется ко мне атаман Соколовский.

Весь изогнулся, чуть из седла не валится. Лицо у него злое. Глаза горят. Оскалился.

— Стой! — кричит.

И, вижу, саблю надо мной поднимает.

Я съезжилась. Присела. Потом у меня что-то в ушах затрещало. Что-то грохнуло. Ноги у меня подкосились. И я память потеряла.

ЗОЛОТАЯ САБЛЯ. Очнулась — кто-то мне голову гладит. А голове больно. В голове шумит.

Где-то как будто стреляют. Где-то «ура» кричат.

А я даже и вспомнить не могу, что со мной, где я... Носом поглубже дыхнула: папоротником пахнет. Глаза приоткрыла — что такое? Кто это надо мной?

Я даже головой замотала.

— Уйди! — говорю.

Страшно мне стало.

А потом посмотрела получше и узнала: Ноченька это, корова наша... Нагнулась ко мне, сопит и тепленьким своим языком плечо мне вылизывает.

Я у нее, помню, спрашиваю:

— Ноченька! Милая! Где это мы с тобой? А?

А потом голову повыше подняла и вижу: поляна или опушка лесная. Луна светит. Елочка растет. Около елочки конь какой-то гуляет, уздечкой звенит. А рядом со мной вижу: лежит человек. Лежит на спине, руки раскинул. На правой руке кровь. А в руке сабля с золотой рукояткой.

Я тут и вспомнила все. И Соколовского — атамана узнала.

Думаю: «Вот оно что. Значит, не убил ты меня? Значит, самого убили!...»

А голове больно-пребольно. Прямо трещит голова.

Встать хотела — не могу. Все крутится, качается, будто я целый час на одной ножке вертелась.

Легла я и голову уронила:

Вдруг будто сквозь сон слышу — кричат:

— Вот она!

Я опять голову через силу подняла, вижу: люди бегут на полянку. Впереди Вася, братишка, бежит. За ним дядя Федор, охотник. А за ним с конем в поводу — папа!

Я только «папа, миленький» и успела сказать. А уж он меня на руки подхватил, обнимает, целует и в лоб, и в нос, и в глаза, и куда попало...

— Живая? — говорит.

— Живая, — говорю.

— Ну и молодец. Нам больше ничего не надо.

А что дальше было, я уж не помню. Потому, что опять память потеряла. И как меня в город везли — не знаю. Говорят, меня папа на своем коне довез. А Вася и дядя Федор будто бы сзади бежали...

ВЫРОСЛА. Ну, а дальше и рассказывать нечего.

Бандитов, конечно, всех переловили. В тюрьму посадили. Мост новый построили.

А я только три денька всего и повалялась в постели.

У меня ведь ничего страшного не было. Ведь Соколовский меня зарубить не успел. Папа, когда увидел, что он на меня с саблей летит, выстрелил и пробил ему руку. Сабля только тупым концом и ударила меня по затылку. Зато у меня до сих пор лысинка на этом месте осталась на память.

А я лежала — не жаловалась. Чего мне жаловаться? Со мной ведь папа рядом сидел!

Правда, нам с папой даже и поговорить как следует не дали. Уж столько народу, столько людей меня навещать в эти дни приходило, что даже неловко было.

Все на меня глядели, удивлялись: вот, дескать, храбрая какая девочка — бандитов не испугалась!

А я хоть и молчала, а сама думаю:

«А вы почему знаете, что не испугалась? Еще как испугалась-то».

Папа у нас неделю только и погостил. А потом опять воевать уехал.

А через день или через два меня в комсомол приняли.

Как-то вечером возвращаюсь с Ночкой из стада — вижу: ребята идут. Комсомольцы. И с ними наш Вася.

Увидели меня — честь отдают.

— Здорово, — говорят, — товарищ военный инвалид. Мы к вам.

Я говорю:

— Ну что ж, милости просим.

Привела, усадила, спрашиваю:

— В чем дело?

— Дело, — говорят, — такое. В комсомол хочешь?

А я хоть и обрадовалась до полусмерти, а сама и виду не подаю. Отвернулась даже. Говорю:

— Я же маленькая...

Тут Вася мой подскочил, кулаком по столу ударил и говорит:

— Ну, ну! Не фасонь! Ты! Матрена Ивановна! Маленькая, да удаленькая...

Ребята смеются.

— Правильно,— говорят.— Об чем разговор. Пиши заявление.


Тогда я подумала и говорю:

— Ну, хорошо, ладно. Вот с коровой управлюсь и сяду писать...

А сама думаю:

«Чего мне писать? У меня уж все написано и переписано».

У меня заявление-то месяца три уж под подушкой лежало. Уж и пожелтело небось... Все дожидалось, пока я вырасту.



АНДРЕЙ ГОЛОВКО

КРАСНЫЙ ПЛАТОК

Рассказ

У Оксаны радость: мать отрезала полотна на платок и порошком, выменянным у торговки, окрасила в красный цвет. Вышел — красный платок.

Когда девушка пригнала на обед скотину, он на тыне висел: сох. А за тыном красными цветами буйно цвели мальвы. Казалось, сорвался лепесток мальвы и упал на тын. Вот какой был платок!

Девочка даже улыбнулась, заприметив его. Быстренько загнала скотину в хлев — и бегом к платку. Тронула, а он волглый еще. Ну, ничего — и на голове просохнет. Вот только она скатает его. Радостная, сняла она платок с тына. Сегодня праздник. После обеда корову погонит дед, а она с девушками пойдет на господский пруд купаться.

— Ой, красный-то какой! Взглянуть даже больно.

Вприпрыжку побежала в хату. А там тоже праздник. Прибрано. Мать вынула из печи горшок и налила в миску борщ. У порога дед докуривал трубку, а на лавке хмурый сидел отец в белой сорочке: только из церкви пришел. Тишина.

И в этой тишине было слышно, как в маленьком окошечке солнце ткало свои лучи: ж... жж... (А может, это мухи на стеклах?) Ишь какой ткач, и пар с борща, и сизый дым дедовой трубки — все в свою основу воткал. Чудно!

Дед выбил пепел о порог и поднял глаза на внучку: — О, гулять уже? Где уж там скотину пасти! Верно, гречиху всю как есть вытоптали?

— Что я, дура — в гречиху их пускать? — ответила Оксана. — И на жнивье корма хватает.

— Вот погоню после обеда, посмотрю.

Это, собственно, он и хотел сказать. Погоню, мол, а ты уж погуляй, повеселись с подругами. Такой уж у него характер — вечно накричит в шутку.

Зато отец не в шутку еще больше нахмурился и впился глазами в девушку:

— А, копны травишь? Смотри, чтоб я тебе подол не отбил.

Оксана потупилась, а отец продолжал:

— Ты мне брось эту чепуху плести,— он кивнул головой на веночек из васильков, висевший на стене вокруг зеркала.— Пасешь, так паси... Гляди в оба.

Дед перебил:

— Ты, сынок, про копны. А много ль их по милости господской останется? Деникин-то, чай, приказ издал, чтоб и господам накидывать.

— Это для людей приказ. А мы тихонечко раз-раз, может, и все помолотим. Барин знает, у кого взять, а кому и дать.

Он нагнулся под лавку за скамеечкой, потому что мать уже поставила миску с борщом на стол, и никто не видел, как в его рыжих усах змейкой скользнула и притаилась усмешка.

Обедали в сенях. Молча хлебали из миски, и каждый думал о своем. Отец — о копнах, дед — тоже, а может, и мать. А Оксана — скорей бы обед кончился — да на волю, с девушками на левады. В открытую дверь видно было: на огороде желтые подсолнечники на плетень склонились, воробушки порхают меж ними, щебечут. Дальше коврик маков, а за ним зеленая завеса сада. Она знала: там, за этой завесой, левада; на траве меж белых осин крест-накрест переплетаются тропки.

Пойди по одной — выйдешь прямо к господскому пруду, где склонились вербы и лозы кудрями нависли над водою...

Снаружи донесся топот. Кто-то с гиком промчался по улице. Видно было только, как облако пыли разостлалось по двору.

— Казаки, верно,— сказала мать.

А дед:

— И куда это они все ездят?

Отец:

— На то и кони, чтобы ездить.

И нахмурил брови. На лбу морщины зашевелились.

Оксана смотрела во двор. Вот через плетень видно — у Мусиев из хаты вышла Марийка и побежала на луг. Оксана высунулась из сеней и крикнула ей вслед: — Марийка! И я сейчас...

Отец цыкнул, а дед улыбнулся в седые усы. Девушка встала, покрылась красным платком.

— Ну, мама, я пойду.

— Иди, — это мать.

А отец:

— Да смотри в господский сад не суйся. Чтоб там и ноги твоей не было!

Оксана стояла, опустив голову, а как только отец замолчал, повернулась и бросилась через огород на леваду.

✻ По тропке, меж осин, пониже огородов, шли — впереди Марийка, а позади еще несколько девушек. Оксана окликнула их, они остановились, подождали. Когда подбежала, все с любопытством уставились на платок:

— Ой, до чего ж хорош! Это порошком?

А идут они к пруду. И она ведь с ними? Вон еще Федорка на огороде огурцы собирает, надо и ее позвать.

Марийка, проходя мимо огорода, остановилась и позвала подругу.

— Сюда-а!

Федорка выпрямилась и стояла молча. Потом высыпала огурцы из подола и, осторожно ступая по ботве, подошла к девушкам.

— Идем купаться! — позвала ее Марийка.

Федорка покачала головой.

— Не хочу.

— Что же?

— Так.

Девушка грустными глазами задумчиво смотрела вдаль. Может, думала об отце, который ушел из дому прятаться от казаков. А может, о господах, приехавших вчера из города. Ничего не говорила. А подружки звали. Оксана, та даже за руку тащила.

— Пойдем же.

Федорка бледно улыбнулась одними губами и пошла с ними.

До пруда было недалеко. Немного прошли левадой, затем через ров, — ограды давно уже не было, — и очутились у пруда, под высокими вербами. Отсюда сразу же начинался сад, и в просветах между деревьями краснели кирпичные строения усадьбы.

Марийка первая разделась и прыгнула в воду. Остальные тоже начали раздеваться, как вдруг из сада выбежала маленькая кривоногая собачонка и с лаем бросилась к ним. Вслед за ней показались две барыни, а позади длинноногий в коротеньких до колен штанишках мальчик-барчук.

Девушки оторопели. Господа были близко, всего в нескольких шагах. Подруги увидали, как исказилось желтое лицо старой барыни и сквозь зубы вырвался тоненький голосок:

— Ах, спасенья нет от них! Ступайте вон отсюда, гадкие девчонки, и так пруд запакошили. Ступайте, ступайте!..

Собачонка, визжа, вертелась у ее ног. А девушки — за одежду, и как ветром сдуло их, только лозы затрещали. Запыхавшись, остановились за рвом в подсолнечниках, и Марийка только здесь надела юбку. А потом, высунув голову из подсолнечников и скривившись, передразнивая барыню, запищала:

— Пошли отсюда, гадкие девчонки! У-у! Паны — на троих одни штаны! — прибавила потом так грубо, как только могла.

Девочки подхватили: высунув из бурьяна головы, пищали, дразнили барыню. А та злилась и угрожающе махала зонтиком. А барчук, рассердившись, схватил палку и швырнул в девчат.

Недокинул.

— Отцу в лоб! — крикнула одна из девушек и в ответ, схватив камешек, бросила в мальчишку.

Другие тоже стали кидаться. Федорка первая опомнилась:

— Ну их! Пойдем, девушки, теперь их право, еще нагорит. Пойдем!

Бурьяном, затем огородами, мимо подсолнухов, побежали вверх к улице. Уже были возле плетня, как вдруг Оксана, бежавшая впереди, остановилась и расширенными глазами поглядела на подруг:

— Смотрите, вон казаки кого-то ведут! Глядите-ка!

Прижавшись к плетню, они испуганными глазами смотрели на улицу.

Проехал всадник. Из-под копыт поднялась пыль и окутала все серой кисеей. Сквозь нее было видно, как по улице двигалась толпа. По бокам ехали казаки на

конях с обнаженными саблями, а в их кольцо человек пять-шесть крестьян. Мужики без шапок, некоторые в одних сорочках, шли потупясь, тяжело передвигая ноги. Молчали. Слышно было только, как кони стучали копытами.

Девчата и дух затаили. Кто-то вздохнул. А Федорка разом перегнулась через плетень и зорко всматривалась в идущих. Вдруг она всхлипнула, словно ей не хватило дыхания, и прутик от плетня хрустнул под ее рукой.

— Отца повели!..

Побледнела сразу и все смотрела вслед. Вот и не видно уже, все пыль закрыла. Только слышно — заскрипели ворота в имении, проглотили толпу и снова заскрипели. А встревоженная пыль пронеслась по улице и там, за селом, шмыгнула в бурьян.

Федорка, плача, побежала домой. И все девушки загрустили. Начали расходиться.

Марийка и Оксана пошли по той же тропке, между осин, пониже огородов. Шли молча. Впереди — Марийка, Оксана за ней. И Марийка вдруг спросила:

— А правда, Оксана, барин говорил, что у твоего отца копен не возьмет?

— Не знаю, — ответила Оксана.

А сама вспомнила, что отец говорил об этом в обед и подумала: может, и не возьмет. Почему бы это? У всех берет.

— Может, нет, — сказала она, — не знаю.

Здесь ей надо было сворачивать. Марийка пошла дальше, а она повернула через картофельное поле к хате. Шла медленно, и что-то все вспоминалось ей помимо воли: сердитая барыня с зонтиком, толпа в пыли на улице. И Федорка вспомнилась — бледная вся, а глаза такие испуганные-испуганные...

Было тяжело...

■ Дед уже погнал скотину в степь: калитка в плетне была отворена. А в сенях на пороге — против солнца — мать с соседкой.

Оксана подбежала и первым делом рассказала, что видела арестованных — погнали по улице. Видели и они. Это все кацаевские, один только Семен (отец Федорки) здешний, а в Кацаевке скрывался. Ну, и поймали.

— Теперь всё так, — сказала мать медленно, — эти тех ловят да бьют, а те — этих. А лучше всего — сиди и не рыпайся. Пришли большевики, землю дают — слава богу: за земельку эту век бьемся. А кадет пришел, отбирает — на, твое право, будь по-твоему. Ведь недаром говорится: послушное теля двух маток сосет, — закончила она.

А Оксану уже не радовал платок, что лежал на коленях, словно полинял сразу. Вспомнилось (почему?) — давно, еще когда не было казаков, дед как-то после сходки на бревнах при всех сказал Семену:

— Молодец, Сема! Бедняк, за бедняков и хлопочет! Молодец, сыночек!

И похлопал по плечу. А дед у нее седой, умный. Знает ли он, что тут стряслось?

И было грустно. И больно.

Побежала девушка в садок, полила свои петушки. Нет, тоска.

А соседка домой ушла, и мать спать улеглась.

Такая тоска!

Тогда Оксана по жнивью побежала к деду, который пас за курганом, возле гречихи.

■ Там и пробыла до самого вечера. А как садилось солнце, вернулась вместе с дедом. Немножко развеселилась. И спать легла с надеждой: может, еще и выпустят, — вот ведь дед говорит...

■ На следующий день Оксана, как всегда, встала рано, еще до солнца, и сразу догадалась по лицу деда, что произошло что-то необычное: он шутливо подмигнул ей и весело улыбнулся.

— Ну, брат, ищи ветра в поле. Удрали наши.

— Кто?

И вмиг сама догадалась. Загорелись глаза.

— И Федоркин?

— А то как же. Все удрали. Подкопали под конюшней — и айда! А караульные услышали, да поздно — ищи ветра в поле. Таковую там стрельбу затеяли! Да ведь ночь — мать. Поди поймай! — Он радостно улыбался, довольный, что так посчастливилось беглецам; глядел на внучку, на ее заблестевшие глаза и еще больше радовался.

Оксана, веселая, погнала скотину в степь.

До обеда пасла вместе с другими девушками. Играли в кремешки, вышивали. Потом к ним присоединились парни, и пошли шутки: то кремешок забросят, то еще что придумают. А один вырвал у Оксаны красный платок и стал играть в «революцию». Девушка сердилась: долго ли разорвать его? Но парни не слушали ее. Спасибо, подруги помогли, отняли кое-как.

А после обеда Оксана погнала корову за курган, где их гречиха росла. Сама села под копнами и начала мережить прошвы, а корову пустила на жнивье. Вокруг легла тишина. Только где-то вдалеке звенела коса,— кто-то опоздал с косьбою,— да вверху пели жаворонки.

Девушка склонилась над работой и замурыкала песенку. А из-за копны взглянул на полотно солнечный луч. Сверкнул по иголке и крестики красные позолотил...

«Ой, как хорошо-то! Вот бы и вправду нитки золотые!»

Она откинулась и, как зачарованная, глядела на прошву. Глядь: а теленок в гречихе... Да добро бы хоть с краю а то в самую середину забрел.

— У, вредный! Вот я тебе дам!

Вскочила с места и побежала выгонять скотину, пытаясь в густой гречихе. И вдруг остановилась, да так и остолбенела. Прямо под ногами у нее лежал человек. Весь в белом, без шапки, а глаза темными пятнами смотрели на нее. Оба молчали. Потом глаза дрогнули, и человек спросил:

— Напугалась? Не бойся, родная, я не страшный.

И улыбнулся так, словно болело у него что-то. Оксану всю трясло, но она стояла. А человек спросил:

— Близко есть кто-нибудь?

Девушка оглянулась. Степь... Копны... Пусто...

Сказала:

— Нет никого!

— Ну и хорошо.

Он замолчал и внимательно оглядел девушку с головы до ног. И опять сказал:

— Смотрю я на тебя, а сорочка у тебя латаная. Бедные, должно быть?

— Бедные, дяденька!

Человек снова помолчал. А потом, опершись на локоть, вымолвил шепотом:

— Ну, так слушай же: я прячусь от казаков. Только не говори никому, а то меня убьют. Поняла?

Оксана кивнула головой. Потом он спросил, нет ли у нее воды. Есть в бутылке, под копнами, она сейчас принесет, только теленка выгонит.

Оксана выгнала теленка из гречихи, сбегала к копне за водой, а потом по старому следу осторожно пошла к беглецу. Подошла — оглянулась: никого нет. Тогда, как перепелочка, упала в гречиху. Подала человеку бутылку. Он жадно припал к ней, выпил всю, потом положил ее на землю. Улыбнулся девушке и, морщась от боли, сказал:

— Вот такой расти, дочка, будь счастлива... Гляди, сразу полегчало. А то с самой ночи, ну, горит внутри — и конец... Думал — сгорю.

Оксана расхрабрилась и спросила:

— А где же вы были, дяденька, что здесь очутились?

Человек помолчал. Погодя ответил:

— Бежали ночью. Вчера нас схватили и привели в эту слободу, в господской конюшне заперли. Ночью всех бы расстреляли... Ну, а мы подкопались.

Он показал свои руки, измазанные землей и кровью.

— Видишь, чем копали? Пот со всех лил, ночь-то какая теперь — минуточку упустишь, не нагонишь. А надо было до рассвета хоть в степь вырваться... Ну и вырвались... Караульные услышали — стрелять начали. А ночь темная, разбежались во все стороны — лови нас! ... Он уже межою бежал, как вдруг ударило в ногу. Споткнулся, упал. На четвереньках полз, а уже светает. Кровью истек — сил нет. Тогда залез в гречиху и притаился.

— Не слыхала — все удрали? Не убит никто?

— Нет, никто не убит.

— Значит, все. А не слыхала — ищут?

— Ищут. В обед, как дома была, рассказывали. И в Кацаевку ездили. Ну, не нашли никого. Дед говорит: ищи ветра в поле.

— Эге, кабы не нога! А то и пошевелиться нельзя. В гречихе разве спрячешься. Она заплаткой маячит на голой степи... Ну, как-нибудь. Эту ночь здесь полежу, и день, а потом хоть ползком буду пробираться вон к тому лесу.

— Может, не найдут... — утешает Оксана. А она завтра, когда погонит скот, есть принесет и воды полную бутылку.

Человек улыбнулся и рукой, покрытой землей и запекшейся кровью, провел по белокурой головке.

— Милая ты душа! Принесешь — поем. А только в слободе никому ни слова.

— Да что я, дура, что ли?

Она поднялась. Уже вечерело, и последний луч окровавил белую гречиху. Девушка отошла, остановилась и еще тихонечко прибавила:

— Не бойтесь, дяденька, не скажу.

Пригнала скотину домой, — по лицу видно: таит что-то. Дед на завалинке сидел, трубку курил, посмотрел, прищурившись.

— О, верно, уж натворила чего-нибудь?

— Нет, — взволнованно ответила девушка и глаза опустила.

Молчала. А потом подумала.

«Дед же — свой. Разве он скажет кому?» — И, колебавшись, рассказала все о человеке в гречихе.

Дед задумался. Велел больше никому ни гу-гу. О, нет! Разве она не понимает: его же убьют! И не сказала никому.

Да отец, верно, подслушал. Как сели ужинать, вдруг спросил: — Так что ты там, в гречихе, видела?

Оксана похолодела. А дед насупился и молчал.

Отец рассердился.

Девушка и рассказала. Все. И как наткнулась на него, и о чем говорили, и какой он есть...

— В ногу ранен: штанина до колен оборвана, и нога завязанная в крови. Никак не пошевелиться ему! А говорил, что эту ночь полежит еще, а потом в лес поползет...

Отец задумался, потом хмыкнул и сказал.

— Ша! Молчите же. Каждому смерть страшна.

И, поужинав, словно забыл все. Вышел во двор. Уже и ночь, уже и спать легли, а он все где-то на дворе возился.

Оксане не спалось. Всматривалась в темноту хаты и тревожно прислушивалась: приближалась гроза... Вначале глухо и далеко-далеко прогремело и стихло...

А под окном тревожно зашептались листья осин. По улице шли парни, пели песни.

Молодые голоса тосковали и тихо гасли за хатой... Тишина. Вдруг в хате блеснуло, точно кто чиркнул кремнем, и на леваде словно из пушек выстрелили. Даже окна задрезжали. Блеснуло еще, и загрохотало в степи... Гроза. За стенами метнулась буря, на миг заблудилась в саду меж деревьями, вырвалась и помчалась дальше... Зашумел дождь. И громыхало и блестело в хате...

Мать крестилась, призывая бога. Оксана закрыла руками лицо и притихла. Мысли в голове ее рисовали картину... Ночь в степи... Гром... В гречихе в одной сорочке он лежит... А вокруг степь голая, немая... Рисунок был очень ярким. А потом блекнуть начал или дождем затуманился: серо... темные точки копен.

Заснула.

... И вскинулась: кто-то скрипнул дверью (да это отец). В хате ночь и тишина. Где-то далеко-далеко прогремело и стихло. Под окном устало качались осины...

Отец разделся и лег на полу с краю. Тишина.

Оксана не спит. И слышит — мать вдруг спросила:

— Ходил?

Отец хмыкнул. Погодя, опять мать:

— Ну и что же?

— Сказал. Завтра поедут.

— А копы как же?

— Да как... обещал... Чай, не дурак барин-то? Может, я ему еще когда пригожусь.

Оксана насторожилась, даже голову подняла и ухо к родителям повернула. Они молчали. Потом отец вздохнул, мать тихо спросила:

— Чего ты?

Пауза. Скрипнул пол. Отец еще вздохнул. Говорит:

— Это ж они конями... гречиху всю как есть побьют.

Оксана метнулась и, взволнованная, села. Мать услышала.

— Чего ты, Оксана? Спи.

А отец тоже беспокойно:

— Что ты?

— Что вы про гречиху-то?.. Кто конями побьет?

— А, дура! Про гречиху... Буря, думаю, как есть всю побила... Спи себе.

Девушка легла. Но было тревожно. Снова перед глазами возник красочный рисунок: ночь в степи... гречиха и он... Вспомнилось, как вели их вчера по улице. Вспомнилась сердитая барыня с зонтиком у пруда... И снова степь. Точки копен и белая заплатка гречихи...

Потом надвинулся туман — заслонил и копны, и гречиху, и тяжело упал на нее, окутал.

☐ Утро наступило солнечное. Но после дождя было холодно и потому отец не велел Оксане гнать скотину в степь — пусть пасется в огороде. А может, и еще почему-то не велел?..

Но Оксане не сиделось дома. Она уже и хлеб в котомочку положила, и воды в бутылку налила, и за пазуху спрятала немного табаку в узелке, дедушка дал: может, курящий человек... Ну, гнать бы да и все, а отец, как нарочно, разжалобился: холодно...

Наконец он ушел со двора. Девушка скорей за харчи, выпустила скотину из загородки и погнала в степь.

Кое-где на голой и пустынной степи маячили ряды копен, раскиданных ветром. Между ними тут и там паслась скотина... А вон их гречиха полосочкой белеет, а возле нее кто-то, верно, ячмень докашивает...

Вот не везет! Это совсем рядом с гречихой. Нельзя будет и еду отнести.

Опечалилась Оксана. Пригнала на место и, задумавшись, стала у копны. Смотрела на косца. Нет, увидит, пойдет она в гречиху, а он догадается — да за ней: что, мол, здесь? Нет, лучше подождать. Может, он сядет отдохнуть или точить косу...

Стояла у копны, держа в руках наготове мешочек и бутылку.

«Если что, — думала, — шмыг в гречиху, словно за перепелочкой. Отдать — и обратно. Вот только он до края дойдет, да отвернет».

Тут Оксана взглянула в сторону да так и замерла вся. От кургана, что верстах в двух всего, неслись три всадника. И прямо сюда.

«Неужели сюда?»

Подъехали к косарю, покрутились, — верно, спрашивали о чем-то. Потом один крикнул что-то и — ой, горенько мое! — влетел в гречиху. Проскакал одним краем, потом серединою. Ой, вдруг стал! Крикнул и рукою махнул. Те двое бросились к нему.



В то же мгновение на голову Оксаны словно гора свалилась,— она тихо опустилась на землю и закрыла лицо руками. А голову, как перепелочка спугнутая,— под сноп. Дрожала вся.

Тишина. Так было миг, а может, минуту, может, больше. И сразу хлопнуло, словно кнутом кто хлестнул. Тишина. И снова — хлоп. А потом мимо копен, как вихрь, пронеслись, протопали казаки.

Оксана вся дрожала и боялась даже посмотреть. Наконец, решила и испуганно выглянула из-за копны. В степи стало пасмурно. А может, ей так показалось? Тени туч неслышно, на цыпочках, в отчаянии блуждали по бороздам. Ой, побежали, побежали... А наперез им казаки, как три ворона, пролетели низко низко над землей. Рядом — гречиha... и побита, побита копытами!


У девушки захватило дыхание.

«На конях поедут...— шептал отец ночью... — это ж всю гречиху побьют».

«...Он знал, и мать знала. Это он казакам сказал! Он, он!» Как держалась руками за концы красного платка, так в отчаянии и сорвала его. И простоволосая, держа платок в руке, побрела в гречиху. Стала. Человек у ног ее лежал навзничь, недвижимый. На лбу, повыше бровей, чернело пятно, под головою лужа кровавая...

Перед глазами Оксаны плыл туман, она едва стояла, скорбно потупясь. Потом склонилась и накрыла лицо убитого красным платком. Еще постояла немного и на цыпочках побрела из гречихи...

Как привидение, шла по жнивью, грустными глазами смотрела вперед... Дальше, дальше... Вот уж едва маячит гречиha. Набегали тени, крыльями черными касались ее и летели дальше. Звенел простор. А даль синяя, солнцем расшитая, смотрела в глаза... и ждала...



НАКАЗ ОТЦА

Рассказ

Веселым, озорным мальчиком рос Гета, сын пастуха. Жители селения хорошо знали его повадки: идя по узкой горной улочке, он то перепрыгивал с одного края расщелины на другой, то швырял камнями и поднимал такой шум, что собаки разрывались от лая, а куры с громким кудахтаньем разбегались в разные стороны.

К пастуху часто приходили с жалобами на сына: — Цола, ты бедный пастух. Негоже, когда сын бедняка непочтителен с уважаемыми людьми. Смотри за Гетой хорошенько, а то что же это такое — никому проходу не дает!

Цола молча слушал. Раз он сказал сыну:

— Почему ты так озорничаешь? Если у тебя много сил и тебе некуда их девать, пойдем со мной на пастбище, поможешь мне пасти стадо...

— Я согласен, дада! — обрадованно заговорил Гета. — Что мне делать в ауле? Играть в альчики с малышами? Мне тут скучно... Я пойду с тобой на просторные луга и буду петть и скакать сколько мне захочется.

И вот Гета вместе с отцом стал ходить по лесам и горам, громко распевая веселые песни. Седые вершины эхом вторили ему. Когда наступал полдень и стадо отдыхало, Цола закутывался в бурку и дремал. А Гета втыкал в землю чабанскую палку, вешал на нее свою старенькую баранью шапку и, не уставая, плясал и пел. — Хеп! Хеп! — хлопал он в ладоши.

Ноги его то выбивали чечетку, то выписывали затейливые фигуры. Собственное горло заменяло мальчику гармонь. Эх, как весело было ему!

Просыпался Цола. Ласково смотрел он на сына и глубоко вздыхал: вспоминались пастуху дни молодости — он ведь тоже когда-то был полон лихости и веселья, никто в ауле не мог переплясать его.

Конечно, отцу хотелось, чтобы Гета поскорее вырос, начал помогать семье. Но были у него и другие мысли. Слушая песни сына, глядя, как, забыв обо всем

на свете, он танцует, старый Цола думал: «Пусть продолятся его беззаботные детские дни... Что я могу дать ему? Разве одевал я его в богатые одежды? Разве видел он игры, кроме игры в кости? Это счастье, что душа моего сына богата задором и весельем. Так пусть поет звонкие песни, пусть танцует!»

Как-то раз, когда они были на пастбище, Цола сказал сыну, что должен отлучиться.

— Схожу в соседнее селение и вечером вернусь.

Гета остался один. Как хотелось ему поплясать вокруг чабанской палки, — только сейчас не время. Надо было во все глаза смотреть за стадом — чтобы волк близко не подошел, чтобы не отбил козленок или овца...

Отец вернулся затемно. Он был угрюм и неразговорчив. Долго сидел он у костра, устремив взгляд в синюющую даль. Гета ласкался к отцу, стараясь развеселить его шутками, но Цола ни разу не улыбнулся.

«Что случилось? — раздумывал мальчик. — Может, кто-то обидел отца?»

Через два дня Цола снова куда-то ушел. И на этот раз вернулся он поздно и был угрюм.

Прошла неделя.

Однажды Гета нашел на лугу большой кусок мела. На стоянке около шалаша лежала длинная каменная плита, и Гета, помогая себе языком, старательно вывел на ней: «Г. Ц. 1919».

Отец подошел к нему и стал спрашивать:

— Что это за каракули? Зачем ты пишешь на камне?

— Это не каракули, отец. В прошлом году товарищи научили меня писать буквы. — Гета удовлетворенно улыбнулся. — Видишь, я написал: «Г. Ц.» — это значит Гета Цолаевич, а потом год — тысяча девятьсот девятнадцатый... Вот пойду этой осенью в школу, прочту все мудрые книги и стану самым большим начальником! — Брось свои шутки, — заговорил Цола. — Сейчас не время шутить... Какая школа? Какие книги? И где ты видел, чтобы сын пастуха стал начальником? Идет гражданская война, и еще неизвестно, чем все это кончится...

Отец круто повернулся и зашагал к стаду. А Гета стер надпись на камне и, размахнувшись, изо всех сил швырнул мел вниз, в ущелье.

Но что это? Гета глазам своим не верил: на той стороне ущелья скакали всадники. Они пропали в балке, потом снова выехали на тропинку. У каждого была винтовка за плечами, все в высоких фуражках, выгоревших на солнце, поблескивают погоны...

— Отец! — позвал взволнованный Гета. — Отец!..

Через минуту Цола был у шалаша.

— Кажется, это за мной, — одними губами прошептал старый пастух. — Тупчан сделал свое черное дело!.. Слушай, Гета, если меня заберут, помни... в пещере у поворота в Зеленую долину... комиссар... его ранили деникинцы. Я носил ему пищу, теперь ты должен заменить меня... Коли что нужно, спроси у Харитона. Понял?

— Понял, дада, — словно во сне отвечал Гета. — Я сделаю все, что ты сказал...

Враги приближались. Вот один из белогвардейцев соскочил с коня и, обращаясь к Цоле, крикнул:

— Иди сюда, красное отродье!

Пастух не двинулся с места. Гета стоял рядом, прижавшись к отцу.

— Ты что, оглох, шкура?! — заорал белогвардеец. Он вытащил наган и ударил пастуха рукояткой по голове.

Мальчик вцепился ему в руку, но солдат легко отшвырнул его прочь.

Когда окровавленного Цолу уводили, он, нахмурившись, поглядел на сына и сказал:

— Паси стадо и не озорничай...

Гета, весь дрожа, смотрел ему вслед. Он опомнился только тогда, когда конный отряд белогвардейцев скрылся в лощине.

Вечером Гета пригнал стадо в аул. Грустный, растерянный, шел он домой.

— Где отец? — предчувствуя недоброе, спросила мать.

— Его увели белые, — ответил Гета. И больше уже не вымолвил ни слова.

Чуть погодя в саклю заглянул Харитон, сосед Цолы.

— Я уже все знаю, — он грустно кивнул мальчику. — Отец твой ничего не передавал мне?

— Ничего, — глядя в землю, сказал Гета.

Некоторое время они стояли друг против друга.

Потом Харитон положил свою тяжелую руку на плечо мальчика.

— Припомни, Гета, он сказал тебе о пещере?

Мальчик покачал головой. Потом он испытующе глянул на Харитона.

Харитон был высокий, могучий, и казалось, вот-вот уйдет в землю под собственной тяжестью. Лицо его светилось добротой, а глаза так и сияли голубыми озерцами.

— Ладно, — промолвил, наконец, Харитон, — если отец тебе ничего не говорил, я пойду. — И он направился к двери, чуть заметно покачивая сильными плечами.

— Пойдите, дядя Харитон! — окликнул его Гета.

— Что такое?

— Отец велел обо всем спрашивать у тебя... Скажи, за что его забрали белые?

Харитон оглянулся на дверь.

— Ну, что тебе сказать? Твой отец, Гета, стоит за большевиков... Кто-то донес на него. Может быть, Тупчан, который всегда прислуживает богатым. Белые узнали, что Цола спрятал в пещере русского комиссара отряда красных...

Харитон не успел закончить, как в саклю вошла мать Геты.

— Что вы шепчетесь? — накинулась она на соседа. — Что ты задумал? Мало мне горя — увели моего мужа, так теперь и сына сбиваешь с толку!

— Напрасно ты это говоришь, — тихо сказал Харитон. — Я сам болею за Цолу душой, ведь он мне как родной брат... — и, кивнув мальчику, добавил: — Завтра, наверное, я сам погоню стадо. Спокойной ночи!..

Теперь Харитон вместе с Гетой пас скот.

Первые дни сосед и не спрашивал о пещере и комиссаре. Но в конце недели сказал:

— Слушай, Гета, завтра нужно отнести еду комиссару. Я так рассчитываю, что пища у него кончилась...

— Я сделаю это!

— Дорогу я тебе укажу, — продолжал Харитон. — Но будь осторожен. За поимку комиссара деникинцы обещали много денег. Не дай бог тебя выследят — погубишь человека!..

Настало утро следующего дня. Густой туман накрыл землю.

Высоко на горные луга погнал Харитон стадо. Но Геты сегодня с ним не было, — мальчик шел в это время по глубокому ущелью. Вот оно начало сужаться.

Скоро надо будет повернуть налево. А там до Зеленой долины и до пещеры рукой подать...

Чем ближе подходил Гета к повороту, тем сильнее билось его сердце. Старая суконная рубашка пропотела на нем насквозь. Да и то сказать, хурджун с едой для комиссара был тяжел — не пожалел припасов Харитон!

Когда Гета уставал, он выбирал высокий камень и прямо со спины ставил мешок на него; передохнув, стаскивал хурджун с камня и отправлялся в путь.

— Еще немного, еще немного, — подбадривал он себя, сдувая с верхней губы капли пота.

Уже выходя из ущелья, Гета оглянулся да так и застыл на месте: невдалеке, озираясь, шел по его следам человек в длинной черкеске.

«Кто это может быть?» — тревожно думал мальчик, всматриваясь в человека. Но через мгновение преследователь скрылся за большим камнем. Ноги у Геты подкосились от страха, он совсем растерялся.

— Я пропал! — в отчаянии сорвалось у него с губ.

Конечно, он мог бы бросить мешок с едой и убежать. Никто бы его не догнал. Но тогда комиссар умрет с голоду. И тут Гете пришла в голову хорошая мысль. Он вскинул хурджун на спину, быстро взобрался на недалекий пригорок, а когда пригорок скрыл его, спрятал мешок с едой под камень. Затем выбрал тропинку и не оглядываясь зашагал в сторону пастбища.

«Если это Тупчан, — рассуждал Гета, — я сбил его со следа. Хурджун он не найдет, а я буду говорить, что иду к Харитону».

Он отошел уже довольно далеко и вдруг вспомнил, что ничего сегодня не ел. В кармане завалился кусок черствого чурека. Гета присел на камень, собираясь закусить, как перед ним словно из-под земли вырос Тупчан. «Вот кто преследовал меня! — понял мальчик. — Не зря Харитон говорил, чтобы я опасался его!»

— Здравствуй, малыш! — тяжело дыша, сказал Тупчан. — Много ли еды донесешь, если по дороге съешь половину?

Гета хотел ответить шуткой. Но горло у него перехватило, он даже слова вымолвить не мог. Тревожные мысли осаждали его: «Нет, верно, не зря Тупчан идет за мной! Харитон говорил, что он стоит за царя, за богатых. Сейчас, когда деникинцы пришли в аул, Тупчан

каждый день и ночь вертится у штаба белых. Может, ему поручили найти комиссара?»

— Гета,— сказал Тупчан, пристально глядя на мальчика.— Ты, конечно, знаешь, что среди нас живут плохие люди... Это они ведут народ к гибели. Они и твоего отца соблазнили. Не появись они в наших горах — жили бы мы без горя и забот... Скажи мне, ты знаешь, кто у нас в ауле идет против законной власти?

— Не знаю.

— Ты не знаешь, а я знаю.— Тупчан погрозил кому-то своей толстой палкой.— Разве это люди, если они скрываются в пещерах и не показываются народу?

«Про пещеру говорит! — отметил про себя Гета.— Теперь понятно: он ищет комиссара!»

Мальчик поднялся с камня, но сильная рука Тупчана задержала его.

— Сиди! — грозно сказал он.— Ты думаешь, я долго буду слушать твое «не знаю»? Не рассказывай мне сказок. Мне все известно. Я спрашиваю тебя: где скрывается русский комиссар?

Пальцы у Тупчана были крепкие, как зубья лемеха, и он с такой злостью сдвинул плечо мальчика, что Гета застонал.

— Говори!

— Я ничего не знаю... Пусти меня...

Тупчан выпрямился, лицо его побагровело. Он сунул руку в карман и вытащил маленький браунинг:

— Иди вперед! Если хочешь жить — показывай дорогу к логову комиссара.

— Не знаю я никакой дороги,— говорил Гета.— И про комиссара ничего не знаю... Ты только зря делаешь мне больно.

Тупчан отпустил его.

— Эх ты, темнота... А сколько денег мог бы получить! Знаешь, за поимку комиссара дадут большую награду. Овец себе купишь, корову, матери шелк на платье.— Тупчан даже завистливо вздохнул, перечисляя все это.— И отца твоего отпустят, я об этом позабочусь... Ну, согласен?

И тут Гета снова решил схитрить. Пусть Тупчан думает, что он поддался соблазну.

— Хорошо, пусть отпустят отца. А денег сколько дадут?

— Сто тысяч! — почти выкрикнул предатель.

— Пошли.

Гета быстро побежал вперед. Он уводил Тупчана все дальше и дальше от Зеленой долины. Вот за этой ложиной начинается пастбище, где пасет стадо Харитон... Теперь Гета чувствовал себя спокойным.

— Где же пещера? — спрашивал Тупчан, прерывисто дыша и не поспевая за мальчиком.

— Неподалеку, — ответил Гета и вдруг, не выдержав, засмеялся. — Комиссара захотел увидеть, подлый предатель! Ишь какой хитрый!

Он собрался прыгнуть на высокий камень, за которым виднелась тропинка, но Тупчан успел схватить его.

— Ну, чертенок, теперь не уйдешь!

— Харито-он! Харито-он! — закричал Гета, стараясь освободиться от цепких пальцев Тупчана, искавших его горло.

«Хари-ито-он!» — загремело эхо.

Но Гета уже не слышал этого громкого отзвука. Тупчан навалился на мальчика, все сильнее и сильнее сжимал его горло своими пальцами.

И вдруг сознание возвратилось к нему. Он вздохнул раз, потом еще и еще; открылись глаза, и мальчик словно впервые увидел синеву неба и могучие горы, поросшие зеленым кустарником.

— Гета, Гета, очнись! — звал его голос Харитона. — Ты видишь меня?

Мальчик приподнялся на локте, оглянулся: невдалеке лежал Тупчан.

— Он душил меня, — хриловато прошептал Гета.

— Ничего, — сказал Харитон, ставя мальчика на ноги и поддерживая за локти. — Теперь эта собака ни на кого не залает. А браунинг нам пригодится. — Харитон ловко подкинул и поймал маленький револьвер.

— Надо идти, — спохватился Гета. — Я оставил хурджун с едой для комиссара в приметном месте...

— Иди, — сказал Харитон. — Иди, я на тебя надеюсь, как на себя...

Через полчаса Гета подходил к Зеленой долине.

НА БОЛОТЕ

Рассказ

— Пусть я лопну, если обманываю, пусть лопну! — хриплым голосом говорил запыхавшийся мальчик без шапки, с взъерошенными волосами, мокрыми от пота.

Мальчик бил себя заскорузлым темно-бурым кулаком в худую грудь, покрытую рваной свиткой, шлепал по болоту босыми исцарапанными ногами и все повторял: «Пусть лопну!»

— В чем дело? Что такое? Говори толком.

— Пусть лопну, если это неправда!

В глазах мальчика светилась радость — он выполнил секретное задание. Паренек глотал слова и, казалось, искренне хотел лопнуть, лишь бы ему легче было рассказать то интересное и страшное, что было известно ему. Мальчика обступила толпа стариков-крестьян, женщин и детей. Все с нетерпением смотрели ему в рот и ждали.

Мальчик тяжело дышал, подозрительно вглядываясь в лес, в болотное пространство, в темные кусты. — Рассказывай скорей! Лопни, черт бы тебя побрал, но говори, наконец! — крикнул в сердцах старый дед, высокий и худой, со сморщенным лицом и желтоватосерой бородкой. Скрюченными пальцами схватил он мальчика за плечи и стал его тормошить.

Мальчик, будто только этого и ждал, сразу выпалил:

— Легионеры узнали, где мы скрываемся! Им сказал подлюга Бавельчик!

— Вот панский подлиза! — заскрипел дед зубами и крепко выругался. — Еще что узнал?

— Легионеры сейчас придут сюда и заберут наших коней и коров. Бавельчик ведет их зимником. Ей-ей, не обманываю!

— Вот мерзавец! Вот гад! Разве лишь удерет с панскими псами, а то я, словно тыкву, оторву его подлую голову. Пусть забавляется ею!

На болоте началась тревога. Мужчины, женщины и дети засуетились, разошлись в разные стороны — собирать лошадей и коров.

— В хвойник надо идти через Тименку. Туда эти бандиты не проберутся... И не толпой идите, а в одиночку! — начал командовать дед. — Да потише, голоса не подавать!

Стоял летний полдень. Заболоченная поляна, окруженная со всех сторон темной стеной леса, изнывала от жары. Высокая, по пояс, зеленая трава была помята людьми и животными. Местами в траве рдел тысячелистник мутно-медного цвета, смотревший вверх огромным мертвым глазом. Кое-где торчали высохшие прошлогодние стожары. Они-то и указывали врагу, где крестьяне прячут коней и коров.

Низко над травой кружили болотные птицы. Они были заняты своими обычными, повседневными делами: ловили мух, мошек, глотали червяков и звонко перекликались на разные лады. Кое-где, спокойные и гордые, стояли аисты.

Скот оторвали от душистой травы, и встревоженные люди тихо, в одиночку, повели лошадей, погнали коров к речке.

Трава шуршала затаенным шепотом: «Ш-ш-ш... С-с-с...»

Хлюпало болото и зыбкой-зыбуном качалось под ногами: «Хлю-у-уп, хлю-у-уп, хлю-у-уп...»

Вот, казалось, люди и животные продавят верхний, пухлый слой болота, заросший высокой жестяной травой, прорвут его, как истлевший кожух, провалятся — и следа не останется от них. Удивятся молчаливые аисты, захлопают мощными крыльями-веерами, поднимутся, купаясь в растопленном золоте солнца, и понесут в прозрачные дали немую сказку о том, как болото проглотило людей и животных.

Живой цепью люди тихо тянулись к речке, переправлялись вброд и вместе с животными скрывались на противоположном берегу, в пуще.

Последним перешел речку высокий седой дед.

Издали доносилась трескотня пулеметов: «Тра-та-та, тра-та-та...», словно кто-то рассыпал бобы по сухому каменному току.

«Это наши партизаны дерутся со шляхтой», — подумал дед.

На худом лице его появилась улыбка. Старику вспомнилось, как он сам когда-то воевал с турками. Тогда и войны были не такие, и вся жизнь была другой. Тогда царь силой гнал людей на бой с неведомым врагом, а теперь люди сами идут. Вся молодежь из окрестных деревень выступила против панов, и не только молодежь — бородатые мужики пошли в отряды.

Да и как не пойдешь, когда шляхтичи порют крестьян, оскорбляют женщин, до смерти замучивают девушек, жгут деревни!

«Эх, был бы я помоложе!.. — дед глубоко вздохнул. — Ну, ничего! Если не я, то двое моих сыновей бьются теперь с врагом...»

Дед скрылся в пуще и присоединился к односельчанам, которые, немного осмелев, понукали животных.

Солнце слабо пробивалось сквозь густые ветви высоких деревьев. В пуще стоял густой мрак. Пахло сыростью, грибами. Кое-где торчали огромные вывороченные коряги, похожие на неведомых, фантастических животных. Мох здесь расстилался пухлыми подушками, папоротник рос огромными кустами. Пьянил запах багуна и переспелых ягод. Местами обнажалась черная, торфяная, жирная, как масло, земля. Встречались и ямы, полные отливающей перламутром воды, словно кто-то копал здесь колодцы. На мягкой земле были четко оттиснуты следы волков, аистов и мелких птиц. Это было одно из тех мест, про которые народ в далекие времена сложил страшные сказки о разбойниках, леших и русалках.

Крестьяне, внимательно следя за тем, чтобы скот не заблудился, выбрались из пущи и дошли до Тименки, болотистого луга, тянувшегося длинной узкой полосой, сдавленной с обеих сторон густым лесом. Через Тименку они добрались до сухого хвойника, торчавшего на небольшом возвышении твердой, колючей бородой великана.

Хвойник был на несколько верст окружен лесом и болотами. Белопольским бандитам не пробраться в такое место. Шум стрельбы доходил сюда далекими,

глухими отголосками, которые не очень-то тревожили крестьян. Своего хозяйства они уже все равно лишились: паны пустили по их крышам красного петуха.

«Партизаны не пропадут, у них много ружей и пулеметов, да и Красная Армия, наверно, уже к ним подросла!» — думали крестьяне.

Солнце спускалось все ниже и ниже.

С наступлением вечера в людях, оторванных от привычного образа жизни и от всего мира, произошла перемена. Каменным комом застыло горе в груди. Их загорелые лица были покрыты грязью, губы запеклись от жажды, глаза покраснели от бессонницы, тело ныло от усталости. Старики что-то бормотали про себя.

Только дети не унывали. Им все было интересно. Нет ничего лучше, как прятаться днем и ночью в лесу. Они бы не отказались здесь жить все время. Плохо только, что взрослые не разрешают шуметь. Станный народ — эти взрослые. Начали хорошее дело — хождение по лесам, а перекликаться не дают, не разрешают ни громко смеяться, ни свистеть. Смотри на мать и молчи неизвестно почему.

Люди собрались в кучу. Дед подозвал мальчика, который принес весть о предательстве Бавельчика, выдавшего белополякам место, где они скрываются:

— Знаешь что, Степанка! Стоило бы снова сбежать в деревню, посмотреть, что там делается. Только осторожно, чтобы не заметили тебя.

— Пусть я лопну, если меня заметят! — горячо отозвался обрадованный мальчик.

— Иди и не задерживайся. Возвращайся сразу. Смотри, не заблудись!

Степанка шмыгнул в лес.

Женщины начали доить коров в большие кувшины. Старики молча курили свои трубки. А дети тайком резвились.

Надвигался мрак. Гудели и немилосердно кусались кружившие тучами комары. Люди собрались вместе и поужинали хлебом с молоком. Только несколько мужчин остались сторожить лошадей и коров, лежавших и стоявших тесной кучкой.

Костра не разводили: боялись, что его заметят. Женщины уложили детей спать, закутав их в свитки и кожухи. Взрослым не спалось.

Тоскливо и неуютно было в лесу без костра. Сырость пронизывала до костей.

Прошло полчаса, час... Над землей стоял яркий двурогий месяц. Как золотой горох, были рассыпаны по синему бездонному небу сотни звезд. Где-то близко хохотала сова. Жалобно выли волчата.

— И дернуло же меня снова послать сорванца! — сказал дед. — Еще заблудится...

— Не заблудится, — успокаивали женщины. — Степанка знает лес и болото, как родной дом.

Люди настороженно прислушивались к каждому шороху. Вот вблизи за деревьями что-то затрещало. Послышались человеческие голоса.

Все вскочили на ноги. Шло несколько человек, а вел их Степанка.

— Неужто legionеры? — встревожились крестьяне.

— В legionерских шинелях, в шапках с блестящими козырьками...

— Вот где конец нашим коровкам и лошадам...

Legionеры приближались. Вместе с ними молча шагал и сосед — предатель Бавельчик. Руки он заливхватски — видно, гордясь собою, — держал заложенными назад. Степанка вьюном вертелся между legionерами и весело хихикал.

«Нарочно он их сюда привел, что ли?» — подумал дед, и с его губ сорвалось крепкое, ядреное ругательство.

— Добрый вечер, братцы! — поздоровались legionеры.

— Да это же наши ребята! — раздались обрадованные голоса. — Наши ребята пришли!

— Legionеров уже прогнали, — начали рассказывать партизаны. — В деревне теперь наши, красные. Паны, удирая, бросили свой обоз, а мы нарядились в их одежду. Вот мы и гостя к вам привели, Бавельчика. Разведите скорей огонь, полюбуйтесь на соседа нашего!

В один момент была собрана куча сухих веток, и вскоре запылал большой костер. Огонь взметнулся пышными красными языками.

Молодые партизаны в legionерской форме с винтовками в руках подвели Бавельчика к огню. Руки у него были связаны за спиной. Это был кражистый, невысокого роста мужик лет под пятьдесят. На круглом, кирпичного цвета лице его топорщились густые седоватые

усы. Маленькие черные глазки искоса поглядывали на людей, поглядывали хищно и трусливо.

Бавельчик служил лесником у пана Барановского, а потому и себя считал наполовину паном. Он шпионил за крестьянами, доносил, где они прячут лошадей и где находятся партизаны.

— Почему ты, Бавельчик, пришел к нам без своих панов? — спросил дед.

Бавельчик опустил голову.

— Почему ты не удрал с паном Пилсудским?

Бавельчик молчал.

— Говори! — со злостью крикнул дед и потянул Бавельчика за связанные руки.

— Мы его захватили возле польского обоза. Он там воровал солдатскую одежду, — сказал один из партизан.

— Подлюга ты! Злодей! — ругался дед. Он сурово посмотрел на Бавельчика и плюнул ему в лицо.

Бавельчик задрожал с головы до ног и скрипнул зубами.

— Хватит! — сказал один из партизан. — Вы побудьте у костра, а мы с Бавельчиком пойдем прогуляемся... Марш, Бавельчик!

Предатель весь дрожал. Зубы его забарабанили. Он пробормотал придушенным голосом:

— Смилюйтесь, братцы!

— Иди, подлый!

Бавельчик не хотел идти, но приклады партизан придали ему охоты!

Никто предателя не защищал, все молчали.

Партизаны скрылись с Бавельчиком между деревьями. Костер весело горел. Проснулись дети и начали резвиться у огня. Они уже не боялись шуметь и шалить: старшие теперь не запрещали.

Спустя несколько минут хвойник содрогнулся от оглушительного выстрела. Отовсюду покатилося эхо. Все вскочили со своих мест. Старые женщины стали креститься. Дети перепугались, некоторые заплакали. — Бавельчик получил по заслугам, — глухо промолвил дед и спокойно задымил трубкой.

АНДРЕЙ ГОЛОВКО

ФИЛИППОК

Рассказ

Глаза его точно васильки во ржи. А над ними изпод рваного картузика волосы — белокурыми ржаными колосками... Это Филиппок.

А еще рубашонка, штанишки на нем ситцевые, все в заплатках — в заплатках. Они бедняки. И хата вон там, за повалившимся плетнем, также в заплатках и также бедна. А меж ней и левадой — клочок огорода — курице ступить негде... Так это было, так и осталось. И есть еще где-то в степи кусок «панской» земли (когда началась революция — из комитета дали), и на ней сейчас колышется рожь и полоска яровой пшеницы. Колосьями тихо так: — ш... ш... Только вот жать придется ли? В округе немцы с гайдамаками насильничают, все отбирают обратно, возвращают к старому...

Вот к ним, в Михновку, вступили.

Филиппок с ребятами-пастухами видел все с бугра, на котором пасли. Сперва далеко-далеко, на дороге поднялась пыль. Всмотрелись, а это солдаты, колонна за колонной. Село в долине молчало. И вдруг зазвонил в испуге колокол, и под вербами разорвался снаряд, другой, еще... Заклокотало. Колонна тогда рассыпалась по степи и надвигалась цепь за цепью все ближе и ближе... Иногда цепь залегала на бугорке во ржи. И четко тогда строчили пулеметы и грохотали залпы. Снова подымались и двигались — двигались... Долго так. Но все же к вечеру подошли к экономии на краю села, до самых левад.

Вербы мешали ребятам видеть. Слышалось лишь, как раздался крик: А-а... а... — покатился по степи. Выстрелы затихли. Немного погодя стали греметь, то там, то здесь где-то в селе, потом за селом, потом — все дальше, дальше...

Филиппок печально вздохнул и сказал:
— Вот так, взяли немцы...

А Данило, его товарищ, молча взглянул на него и тоже вздохнул.

Поздно вечером ребята со скотом возвращались домой. В пыли медленно ехали на лошадях и молчали — загрустили. Разве кто-нибудь громко ругнет корову, которая забрела в пшеницу.

— А, чтоб ты сдохла!

Вишь, мало ей дороги.

И кнутом щелк-щелк.. Потом снова молчание.

По обеим сторонам дороги с тихим шумом плескались зеленые волны хлебов, плыли, плыли... даже у забора экономии плескались, у ветряной мельницы, у бедных хат.

Когда проезжали мимо экономии, Филиппок первый увидел фигуру в синем, в воротах, а во дворе — повозки и людскую суету.

Сказал ребятам:

— Гляди, — немцы.

Те взглянули и притихли. А как отъехали — кто-то сказал:

— Это контрибуцию требовать. Вон в Песках уж было так. Расстреляли многих, отобрали все. Это чтоб, значит, экономию восстановить.

Глаза Филиппка сразу блеснули.

— Ну, черта с два, — бросил он и вызывающе поднял голову. — Пусть попробуют. Вон Грицько с партизанами забегал позапрошлой ночью, говорил: — Мы как погоним их, так они только у самой Ирмании оглянутся.

А все же отчего-то нахмурился. Отыскал глазами свою Лыску (это корова их) и с жалостью приласкал ее взглядом: «Может быть, и тебя отберут». В прошлом году еще телкой дали им ее из комитета, из стада экономии. А теперь, может быть, назад отберут. На улице всю дорогу молчал. И ребята молчали. Тревожно прислушивались, как металось встревоженное село. На всех концах лаяли собаки. По улице протопал разъезд — исчез в степи... А люди в сумерках неслышно сновали по огородам, в соломе прятались. Где-то болезненный крик тревожил ночь — били кого-то, и плакала женщина, дети...

У Филиппка даже в груди похолодело. И когда свернули за угол, откуда уже была видна их хата, торопливо

взглянул туда — света в хате еще не было. Маленькими окошечками убогая хата смотрела на улицу и притаилась. И во дворе тихо так.

Подъехав к воротам, мальчик спрыгнул с лошади, и открыл их. А когда поставил лошадь в стойло, а корову к яслям привязал, из избы с подойником вышла мать и молчаливо подошла к корове. Филиппок также молча стоял и отгонял теленка, пока мать доила. Только, когда уже окончила и грустно погладила корову, сказал тихо:

— И чего вы, мама? Может быть, еще и не возьмут.

Мать печально взглянула на сына и вздохнула:

— Эх, где там не возьмут.

А немного погодя, уже повернувши к хате, добавила: — Еще хоть бы это только. А то Грицько в партизанах. А за это — ой, как у них строго...

Тихо пошла к хате. А Филиппок за нею — тихо, как тень.

В избе темно. У печки сидело несколько «дядьков», они дымили папиросами, о чем-то тихо беседуя. Когда скрипнула дверь, умолкли было сразу, но увидев своих, успокоились и снова начали.

— Тикать нужно! — сказал Никита Горобец. (Филиппок узнал его по голосу), — потому расстреляют, как дважды два. Вон в Песках — слышали? Завели в яму, откуда глину берут и убили всех. А кого не нашли — хаты жгли.

Тишина в избе. Где-то в сумраке вздохнула мать, и заплакала детвора.

— А я никуда не буду бежать, — сказал отец и взволнованно затянулся папиросой раз, другой, — пусть убьют! А если хату сожгут, куда семья денется? С сумой под забор?

— Не сожгут.

— Кто дал им это право, — гневно заговорили все сразу, размахивая руками.

— Ну, вернулось старое — отбери обратно. А жечь и убивать за что же!

— Да и сыновья хороши, — сказал отец Филиппка и покачал головой, — отцов тянут, а они где-то в лесу прятались.

Никита Горобец заволновался.

— Не говори так, Явтух,— сказал он и, наклонившись, начал шепотом рассказывать, как вчера повстанцы под Федоровкой дрались с гайдамаками. Человек до пятидесяти потеряли своих, а тогда бросились в леса и сразу за Ветряной Балкой в ярах попрятались. Всего семь верст. Им бы только весть подать, налетели б, как языком слизало б эту напасть.

— Да как бы не так,— извести, если из слободы никого не выпускают. Мало того, что убьют, если поймают, а еще и все село сжечь могут.

Замолкли, лишь папиросы поблескивали. Вот одна из них вспыхнула пламенем и на миг осветила бедную хату, хмурые фигуры в табачном дыму. Снаружи кто-то загремел дверьми, запыхавшаяся женщина вбежала — остановилась на пороге.

— Никита у вас?

— Я, что такое? — ответил тот и поднялся.

Все также встали. А женщина вдруг громко заплакала, закрыв лицо руками. Можно было лишь разобрать, что кого-то забрали и били, а теперь в штаб повели... Горевала женщина и билась в отчаянии. Никита тогда сильно сжал ее руки и сказал шепотом:

— Молчи, еще услышат.

Торопясь, вышли из хаты. Филиппок видел из окна, как в полумраке пошли они на огород и как-то затерялись в бурьяне.

Тихо стало в хате. Где-то по соседству выли собаки и слышались крики... Отец долго прислушивался. А потом взволнованно прошелся по хате и сел у края стола. Положил руки свои мозолистые, утомленные работой, на стол, вытянул их и тяжело уронил на них голову. Тишина. В паутине где-то на посудной полке жужжала муха. Всклипывала мать, прислонившись к печке, согнувшись, маленькой такой стала. Руки Филиппка дрожали и горло будто петлей сжало. Но он не плакал. Пристально во мрак глядел на серую фигуру в конце стола и вдруг:

— Тату, а может быть, вы бы убежали...

Отец медленно поднял голову и долго глядел на сына. Казалось, он или не расслышал, или не знал, что сказать. Вдруг вскочил из-за стола.

— Идут,— кинул и словно остоленел посреди хаты.

С улицы, действительно, доносился топот ног.

Повернули во двор. Прошли под окнами и с криками загромыхали в дверь.

— Открой! Вишь, притаился.

— Бей прикладом!

Ударили прикладом в дверь, еще раз...

Двери заскрипели и отскочили. А в хату ввалилось несколько человек, забряцали оружием.

— Где хозяин?

— Здесь живет Явтух Логвиненко?

— Я,— откликнулся как-то хрипло отец.

— Ну, вот тебя нам и нужно,— сказал один и сошел с порога,— огня дай.

Испуганная мать зажгла «сверчок», и когда несла его к столу, руки ее мелко дрожали.

А Филиппок испуганным зверьком глядел с полатей и также весь дрожал. Теперь уж видны были и бледный, худой отец посреди хаты, и два гайдамака, и немцы. Эти последние стояли у порога, как каменные. А один из гайдамаков подошел к отцу и пригрозил ему «наганом».

— Говори только правду. Где сын?

Отец пожал плечами.

— Не знаю. Где люди, там и мой. Он не сказывал, и не спрашивался, куда идти. Не знаю.

Гайдамак даже зубами заскрипел.

— А-а, ты не знаешь!

Он кивнул другому гайдамаку. Тот сразу начал отвинчивать шомпол от винтовки.

— Мы язык тебе развяжем,— кинул зло.

Отец стоял, наклонив голову. Вдруг гайдамак закричал и замахнулся... И произошло что-то страшное. Завопил и, как подрубленный, упал отец. И на голову его быстро сел один, другой замахнулся чем-то блестящим и ударил, еще... еще... Металось в разные стороны тело и изо рта с пеной вылетали хриплые крики. Мать рыдала и металась, а на полатах в уголке кричали дети...

Так продолжалось долго. Отец внезапно затих. Тогда бить перестали.

— Пусть отдышится,— сказал один и обратился к матери: — Чего ревешь? Хочешь, чтобы тебе всыпали.

Мать заговорила торопливо, сквозь слезы. И сыночками называла их, ломала руки и заглядывала им в глаза с такой мольбой...

— Брось, брось! — удерживали ее. — Даешь оружие! Отопри сундук.

Долго рылись в отрепьях и сердитые, наконец, бросили: гольтыба такая, нечего и стянуть. Один сердито хлопнул крышкой сундука и зло выругался. Потом к отцу подошел и ударил сапогом в бок.

— Вставай... разлежся!

Отец избитый, окровавленный, со стоном поднялся. Его толкнули, он покачнулся, и, шатаясь, пошел к порогу. А сзади гайдамаки:

— Иди, иди, качаешься!

Заскрипела дверь. Тишина в хате. Жужжала где-то в паутине муха. А под окнами топот ног... и доносился он уже с улицы. И мать вслед за ними шла, рыдала и ломала руки...

Филиппок сразу вскочил и, плача, выбежал из хаты.

Догнал уже за воротами. Сзади шла мать простоволосая и рыдала. Она схватила немца за рукав и умоляла его, а он что-то сердито забормотал, приставил приклад к ее груди и внезапно так грубо толкнул, что она покачулась, и схватившись руками за грудь, заплакала и отстала. Филиппок шел дальше.

Нагнали в переулке толпу арестованных и присоединились к ней. Шли и молчали. А вслед за ними серые фигуры двигались, как тени. Иногда спереди кто-то из гайдамаков кричал им, чтобы они разошлись, и стрелял в воздух. Толпа на миг останавливалась, а потом снова начинала двигаться.

Дошли до экономии. Это их штаб здесь. Часовой у ворот что-то крикнул, а эти ответили. Потом прошли во двор, за ними закрылись тяжелые ворота...

Стояли в отчаянии. И Филиппок тут же. Какая-то женщина, по дороге все время рыдавшая, подняла руки вверх и бросила туда за забор проклятье... Залп на выгоне, у мельниц, прервал ее слова — сразу умолкла и прислушалась... — еще залп.

— Это пленных расстреливают... — сказал кто-то и со страхом попятился в темноту, — бегите!

Все испуганно бросились вслед за ним в темноту...

Запыхавшийся, прибежал Филиппок домой. Еще с улицы заглянул в окно. Тихо. На полатах сидела мать, как была — простоволосая и заплаканная. Неподвижно

глядела куда-то в угол. Возле нее спали, раскидавшись, дети. Кишинка положила голову ей на колени. Спят... А как проснутся?

Жалость больно, точно щипцами, ущемила сердце. Мальчик сжал зубы. Но в хату не вошел. Скорей — шмыг на конюшню. Долго почему-то возился там, а потом вывел лошадь и, крадучись и прислушиваясь, пошел на огород, затем через картошку и на луг. Там остановился и долго присматривался, и на цыпочки подымаясь и пригибаясь к земле. Жмурился и прислушивался. Тишина. Тогда он взялся за гриву и оперся ногой о ногу лошади. Миг — и он уже на ней. Молча дернул за повод и нырнул в коноплю, потом лоза пошла, осина на лугу и трава под ними, забрызганная лунным светом! Снова кусты...

Филиппок зорко глядел, чтоб не сбиться с пути. Вон там садик Горобцова, а ему надо мимо него ехать, чтоб в степь попасть. Только бы в степь, а там...

Навстречу из полумрака вдруг высочила фигура и окликнула его, щелкнув затвором:

— Кто такой?

Лошадь остановилась и сразу шархнула в сторону. А Филиппок хоть и испугался и похолодел весь, все же дернул за поводья и ударил ногами.

— Но-но... — и поскакал в степь.

Сзади загремело что-то и около уха стегнуло. Выстрелило еще, и залаяли собаки где-то позади. Потом дальше, тише... Уже только топот копыт и шелест хлебов слышал Филиппок, а он все летел, пригнувшись к шее лошади, и все ударял ногами и дергал за поводья.

Наконец остановился. Лошадь тяжело дышала и была мокрой, словно ее выкупали. А у Филиппка захватило дыханье. Он втянул в себя свежий степной воздух еще раз... Потом снял картуз и начал прислушиваться, поворачивая голову во все стороны. Тихо. Степь... Ночь... Где-то в хлебах кричал перепел, и от реки пал туман. Пахло полынью. Тишиной и покоем веяло отовсюду. На миг мальчику показалось, что и действительно тихо и спокойно. А он привел лошадь в ночное... Но опомнился — лошадь ведь мокрая, и позади, там, на лугу, раздался выстрел... А еще раньше залп на выгоне у мельницы.

Снова прислушался, а потом медленно поехал хлебами, настороженно поворачивая голову и смотря, где он. В стороне облитый луной курган. Подъехал ближе Филиппок, начал присматриваться. А это ж Раскопанная! Значит, и дорога недалеко. Вот тут со вспаханного поля взять влево, а тогда мимо верб в балке.

Выехал на дорогу. Серой тропинкой, небрежно проложенной кем-то, протянулась она среди шумевших хлебов, в лунном сиянии потонула в долине.

Филиппок пустил лошадь рысью, а сам зорко глядел вперед, чтоб, случайно, на «их» разезд не наткнуться. Через полчаса показались вдали на горе ветряные мельницы. Мальчик дернул за повод и понесся вскачь. А навстречу из балки выглянули курчавые сады, беленькие сонные хаты... И тишина везде. И луна сверху сияла голубой пылью...

Въехал Филиппок в улицу и остановился: как бы найти хату дяди. (В Ветряной Балке жил его дядя, брат матери. Еще в прошлом году Филиппок с отцом в гости к ним заезжал с ярмарки. А изба старая, покосившаяся, и осины высокие со стороны улицы). Кажись, вот эта. Осины тихо шелестят над забором, а хата на кол-подпорку оперлась.

— Они.

Он заехал во двор и, не слезая с лошади, постучал в окно против печи.

— Дядя, дядя... Выйдите!

Тихо в хате. Потом стало слышно, как заскрипел пол, и кто-то в хате зашевелился. К стеклу из темноты наклонилось бородатое лицо и спросило:

— Кто там?

— Да я... из Михновки, Филипп — знаете? Выйдите ж,— заторопился мальчик.

Фигура в белом молча стояла у окна. Потом зашевелилась и исчезла в полумраке. А немного погода дверь заскрипела, и на порог вышел дядя.

— Странно... Чего это ты,— спросил и заспанный посмотрел на мальчика, рукой за пазухой почесывая.— Верхом... ночью...

Филиппок торопливо начал рассказывать, как немцы пришли, как били отца и забрали в экономию,— много их, человек тридцать забрали. Некоторых

расстреляли уже на выгоне. А в конце не выдержал — заплакал, а сквозь слезы тихо:

— Вот я и приехал. Где-то партизаны у вас здесь, в ярах, чтоб на помощь шли...— И на дядю жадными глазами глядел:

— Вы же знаете где. Поедьте!

Человек почесал в всклокоченных волосах и задумался. Хмуρο глядел в землю. Вдруг поднял голову и сказал шепотом:

— Сейчас.

А сам быстро побежал на конюшню и вывел лошадь. За воротами пристально посмотрел назад и, вскочив на коня, сорвался с места вихрем — растрепанный и весь в белом пронесся по улице. А Филиппок за ним скакал, крепко вцепившись руками в гриву.

...За селом снова шумел хлеб и пахло полынью. Шли галопом. Под вербами неожиданно поехали тише и, свернув влево, спустились в долину, прямо в серый туман. А в нем причудливые пятна каких-то кустов, деревьев. Ветки задевали их ноги, стегали по лицу... Так продолжалось долго. До самой реки. У моста их неожиданно встретили три вооруженных человека в свитках. И тоже на лошадях. Остановили — начали расспрашивать. Дядя все им рассказал. Иногда Филиппок вставлял слово в разговор.

Те заволновались. Из-под нахмуренных бровей гневно сверкали глаза. Нагнувшись с лошадей, жадно слушали они печальный рассказ и, иногда угрожая, подымали руки.

Один, в черной шапке, долго смотрел на Филиппка. Потом спросил:

— Ты из Михновки и будешь?

— Ну да, я Явтухов.

— И вот сюда прибежал известить? — Сверкнул глазами и так натянул поводья, что лошадь поднялась на дыбы. Вдруг рванул нагайкой и поскакал — лишь кивнув назад:

— За мной!

По мосту загрохотали. Влетели в лес.

В чаще под деревьями мелькали костры. У одного сидела группа повстанцев, они курили и грелись. Подбежали к ним. Лошади испуганно захрапели при виде

огня. А повстанец в черной шапке поднялся на стремянах и сразу — бах! бах! — вверх.

— Вставай-ай! — раздался его крик, полетел по лесу и даже на берегу эхо его повторило. Бросились скорей люди, и лес зашумел... А сколько их было — повстанцев, все столпились вокруг атамана своего отважного и по толпе прошел шум.

— Что?..

— Что случилось?..

— Что такое?..

Атаман снова поднялся на стремянах и кинул в толпу.

— Немцы в Михновке...

Толпа онемела. А он говорил дальше:

— Вот малый прискакал, весть нам принес. Он видел, как истязали бедняков, как расстреливали на выгоне пленных... И крестьян то же ждет, если мы, повстанцы, до рассвета не выйдем их оттуда.

Замолчал. А толпа заревела, руками оцетинилась и грозно замахала с криками:

— Веди нас!..

— Идем...

— Мы им покажем, как издеваться над нами!

— Идем!

И рвались вперед, с криком размахивая руками. Тогда атаман медленно поднял руку — понемногу все затихло. А он крикнул:

— На коней!

Толпа бросилась, забегала. Садилась на лошадей и готовилась. А через минуту, проехав меж деревьями, через мост, неслись во весь дух в гору — в степь...

Светало. Когда проезжали Ветряную Балку, пели петухи, и кой-где из-за заборов сквозь стекла уже смотрели на изрытую копытами улицу глаза. За селом поехали тише, чтоб не устать до боя. Филиппок ехал рядом с атаманом и тот все его расспрашивал: много ли немцев и гайдамаков, где стоят. Мальчик рассказывал. А глазами тревожно всматривался вдаль, где уже алел восток. — «Хоть бы не опоздать».

А поравнявшись с Раскопанной Могилой, стали. Рассыпались по сторонам дороги, прямо хлебами двинулись. Филиппку велели отстать. А он хоть и отъехал

обратно, все же не послушался и поехал вслед. Сперва ехали рысью, а когда показались вдали ветряные мельницы, — понеслись вскачь. Молча. Лишь гул копыт катился по степи и шумели хлеба... Вдруг из села выстрел, и застрочил пулемет. А из сотни грудей в тот же миг рванулся крик и летел с ними, с обнаженными саблями над головами.

Филиппок несся следом и тоже кричал. Хотя сам не сознавал этого, хоть и не слышал своего крика... Сразу обожгло что-то и покачнулся он... В тот же миг что-то ударило в голову, а перед глазами мелькнули копыта. Исчезли. А вместо них колосья склонились и качались тихо, и синие васильки смотрели в глаза... А шум рос... Вот налетела красная волна, ударила и залила и васильки, и колосья, и его...

Выбили немцев из села. Утром, когда солнце из-за левад выглянуло, село уже было свободно. Хоть и виднелись раскиданные тут и там посинелые трупы людей в свитках и серых шинелях. Там — вокруг экономии, на выгоне. А сколько угасло их, как искры в степи, во ржи под тихий шелест колосьев!..

За левадами, на лугах шумел бой. А толпа даже за мельницу вышла. Глядели — ждали с замирающим сердцем: кто одолеет.

Выбили. Конный полк красных из-за бугра вихрем налетел, прорвал их цепь, смешал и погнал по степи. Дальше... Дальше...

Радостный вздох раздался в толпе. Заговорили. Кто-то улыбнулся, а старенькая бабушка подошла к мужчинам, по-стариковски зашамкала губами... Явтух, отец Филиппка, бледный, с лицом в синяках, улыбнулся ей тихо.

— Наша, наша берет, бабушка, — сказал. — Вишь, как погнали! — Бабушка перекрестилась и подслеповатыми глазами взглянула туда — в степь. С левад с криками неслись ребята — малые дети. Подбежали.

— Отступили!

— Ой, задали же им наши! — кричали радостно и глаза их горели. А один вытер нос рукавом и головой покачал:

— Ой, набили же их! А наших — Карп убит и Скаленко, еще кто-то. Под вербами вон там... А повстанцы сюда возвращаются.

С покосов действительно медленно возвращались на отдых утомленные повстанцы. Лошади под ними мокры, как после купанья, и у некоторых гривы запачканы кровью. И кровь на свитках, на шинелях повстанцев. А лица их покрылись пылью и в глазах искры.

Толпа окружила их. С радостными криками, с блестящими глазами жались к ним люди. Гладили шею лошадей, прижимались к стремянам. Никита Горобец, бледный, избитый гайдамаками, пробрался к ним сквозь толпу.

— Ну, и молодцы ж, ребята. — Сказал и лицо его в сияниях тепло улыбалось. — Думали погибать уже, а вы, как гром с неба...

Взволнованный глядел на молодые лица ребят на взмыленных лошадях, а толпа зашумела, загудела...

— Избавители вы наши...

— Желаем вам родителей — детей увидеть...

— Уже не думали, что в живых останемся...

Один из повстанцев поднялся на стремянах и поднял руку. Толпа сразу притихла. А он сказал:

— Да наделали бы проклятые палачи, если бы не ваш мальчик какой-то. Прискакал в полночь к нам в лес... «Гайдамаки у нас! Спасайте». Мы и бросились...

Он пробежал глазами по толпе, вероятно, отыскивая этого мальчика среди детворы. А в толпе заговорили — удивлялись, расспрашивали, кто же это? Чей мальчик?

Вдруг замолчали. По улице бежала Явтухова жена. Лицо заплаканное, из-под платка выбивались прядями волосы. Подбежала и заплакала. А Явтух вышел из толпы взволнованный:

— Что такое? Что случилось?

— Хлопца нету... Филиппка!..

Жена снова громко заплакала. Слышалось лишь: — Ночью еще не стало. А утром — на конюшню, и лошади нету. Ну, думаю, пастись повел. Как вдруг утром, когда немцы уже отступили, прибежала лошадь, потная вся и грива в крови... Убит он, сыночек мой... Убит!..

Мать забилась в отчаянии, а женщины окружили ее, утешали. И о чем-то угрюмо говорили мужчины. Повстанец наклонился с седла:

— Как, как зовут? Филиппок? Это он и есть. До Раскопанной Могилы еще ехал с нами, а когда в атаку кинулись, может быть, тогда и убили его.

Он позвал парней и, ударив лошадь, понесся с ними из села в степь искать. А мать за ними кинулась, плача и причитая, и отец бледный, избитый тихо следом пошел. Толпа также потекла за ними из села... Стали. А перед глазами хлеба зеленые волнами катились-катились, у ног плескались. По ним, спотыкаясь, бежала мать Филиппка и далеко-далеко повстанцы на лошадях цепью рассыпались. Вот остановился один, рукой замахал. И к нему кинулись другие. Сошли с лошадей — наклонились. Не видать во ржи.

— Нашли! — заговорили в толпе.

— Гляди, гляди — подняли.

Два повстанца поднялись из ржи и медленно несли что-то. А за ними по межам, ведя лошадей в поводу, остальные. Подбежала мать и прильнула к ребенку. А ветер разносил над рожью обрывки ее рыданья...

Ближе-ближе. Толпа взволнованно зашумела.

— Ну что? Что?

— Жив!

— Жив. Ранен в голову.

Десятки грудей вздохнули с облегчением. Широко раскрыв глаза, подымаясь на носки, бросились к мальчику, которого несли на руках. И затаили дыхание. И на них взглянули синие глаза, будто васильки во ржи. А над ними — волосы белокурыми ржаными колосьями, и по ним стекала кровь на бледное лицо, на рубашонку, заплатанную-заплатанную, и на землю к ногам — кап... кап...

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ

Из повести

Под высокими осенними звездами затихают дома, и тогда слышней становится шепот росы, полураздетых деревьев и почерневших задумчивых подсолнухов, которые уже не тянутся ни к солнцу, ни к звездам.

Всю жизнь меня влекут и волнуют звезды, чудесные и странные рассказы о них, их таинственное мерцание, их совершенная и всегда новая краса. И самые ранние воспоминания моего детства связаны со звездами.

Вот и теперь, прожив полвека, я вижу вечер на дальнем пастбище, потемневшие грустные травы, которые завтра станут сеном, исполинские шлемы копен и желтые лепестки огня под косарским таганком, слышу последний серебристый звон косы и первый скрип коростеля, пофыркивание невидимых коней, что зашли в туман, и тонкий посвист чирят, страхивающих с крылышек росу, и ребячий всхлип речушки, в которую на все лето окунулись мята, павлиний глаз и дикие петушки, цветут себе и не горюют.

А над всем этим миром, где аромат сена слегка приглушен туманом и запахом молодого, еще не наливавшегося зерна, сияют лучшие звезды моего детства. Даже единственный огонек на хуторе, около мостка, тоже кажется мне звездой, спустившейся на чье-то окно, чтоб радостней жилось добрым людям. Вот бы и нам взять одну звезду в свою хату...

И кажется мне, будто, миновав почерневшие ветряки, я вхожу в синий небосклон, беру свою звезду и прямиком, полями, спешу в село. А в это время сон, что незримо притаился в изголовье, касается моих век и приближает ко мне звезды. Их становится все больше и больше, вот они закружились в золотой метелице, я услышал их шелест и музыку... и поплыл, поплыл на утлой лодчонке по волшебным рекам сна...

Сейчас притихшими дорогами, с которых месяц не сводит глаз, мы с дедом возвращаемся из Майданов.

Там в лесных избушках дед мастерил людям ульи и налаживал немудреную сельскую машинерию. Были мы с ним в первой коммуне, где земледельцы, опасаясь бандитов, не выходят в поле без оружия. Дед как-то показал мне стоявший неподалеку от пахарей треножник из винтовок — под ним на полотне лежал святой хлеб.

Бархатный холодноватый вечер окружает нас, под колесами попискивают влажные колеи, шелестят и шипят листья, в долинах нам переходят дорогу клочки тумана — и нигде ни души, только заплаканные вербы по краям дороги, только месяц и звезды в небе. Вот одна упала на дальние поля, и дед говорит:

— Звезды, как и люди, падают на землю, у них тоже свой век,— и, обернувшись ко мне: — Тебе, дитя, не холодно? Может, свою кирею дать?

— Не нужно, дед,— ежусь я на передке и чего-то жду — от моста, что виден впереди, от речки, которая спит и не спит, и от перелеска, сползающего в луга.

— Почему ж не нужно? Ты, вижу, немного замерз.

— Неважно, нам, мужчинам, надо ко всему привыкать,— повторяю его же слова.

— Вот как! — дедусь роняет добрую усмешку на свою седую, пожелтевшую от лунного света бороду, потом застегивает верхнюю пуговку на моем пиджачке, а на босые ноги кладет охапку сена.

Когда мы выехали на чумацкий шлях, из-за деревьев легко, словно тени, выскочили трое вооруженных всадников. От неожиданности я чуть не вскрикнул. Дед одной рукой придержал лошадь, а другую спокойно положил мне на плечо. Под первым, крепко сбитым всадником играет блестящий, словно ясным месяцем омытый, конь.

«Бандиты», — холодею от догадки и теснее прижимаюсь к деду.

— Добрый вечер! — властно здоровается тот всадник, под которым сияет конь, а двое других, с карабинами в руках, остаются немного поодаль.

— Доброго здоровья, если человек добрый,— отвечает дед. В его голосе нет ни страха, ни тревоги.

— Что везешь, человеке?

— Внука, не пугайте его.

— Детей мы не пугаем,— понизил голос всадник.— А оружие везете?

— Зачем нам такой мусор? — замахал руками дед.— Надоело и осточертело оно. Вот заработал немного зерна — и вся моя поклажа.

Всадник наклонился к возу, потрогал мешок, сено и, заговорщицки подняв одну бровь, спросил меня:

— Испугался?

— А вы б не испугались? — все еще с опаской пробормотал я.

— Ну, конечно, испугался бы,— закивал головой всадник.— Как тебя звать?

— Михайло.

— Славное имя. В школу ходишь?

— Нет.

— Эге,— недовольно вытянулись губы у всадника.— Как же ты такого маху дал?

— Пришлось, потому что на зиму сапог нет.

— А вы разве не из богатых?

Я обижено пожимаю плечами, а всадник начинает смеяться. Только теперь я замечаю на его картузе пятиконечную звезду. Выходит, зря я стучал зубами. Насмеявшись, красноармеец серьезно говорит мне:

— Теперь босыми ногами, хлопец, никого не удивишь — очень еще бедные мы. Но все равно должны учиться: так революции нужно! Понял?

— А как же, все до капельки поняли,— говорит дед и покачивает седой головой.

— И что ж вы все до капельки поняли? — лукаво подсмеивается всадник.

— Вот слушай: революции нужен хлеб...— начинает дед, а всадники дружно хохочут.

— Разве не угадал? — удивляется дед.

— Угадали, угадали, но не все.

— А кто ж все угадает? На это надо голову иметь, как бочку. Только я еще не договорил... Кому только не нужен был наш хлеб? Начисто всем! И дети наши нужны были всем для чужой работы, а не в школе. Вот оно и вышло так: и ноги у нас не обуты, и головы босы.

— Эге, дед, так вы ж голова!.. Все сообразили,— удивленно и весело заговорили всадники.— А внука своего непременно посылайте в школу, главное теперь не в сапогах! Было время, когда мы даже воевали

босиком. — Вскинув на плечи карабины, они прощаются с нами.

При лунном свете заблестели стремяна, забренчало оружие, мягко застонала земля под копытами. И тут молодой красивый голос, хватая за душу, плеснул, взлетая над стародавним чумацким шляхом, над вековыми липами, над притихшими полями:

Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою...

Я потянулся к песне, к небу, к вечерней звезде и замер в печали и восторге, которые родил в моей детской душе чей-то голос.

Отгоревала, отзвенела песня на шляху, скрылись вдали всадники, а дед, покачав головой, вздохнул и раз, и другой, что-то тихонько сказал себе, а потом обернулся ко мне:

— Жизнь... А ведь и он, слышишь, Шевченко, босиком в школу ходил. Таким было латаное наше счастье. Завтра, внучек, если доживем, подстригу тебя, возьму за руку и пойдем в школу.

— Дедусь, это правда? — екнуло у меня сердце и дрогнул голос.

— Ну да, как сказал, так и сделаю.

— И книжку мне купите?

— И книжку купим, и чернила из бузины сделаем, и на ситцевую сорочечку расстараемся. А там, глядишь, и на сапожки разживемся, подобьем их подковками, будешь идти меж людей и выбивать искры...

— Правда? — верю и не верю, что столько счастья может выпасть одному человеку.

Охваченный благодарностью, я прижимаюсь к деду и меж звезд моего детства разыскиваю вечернюю звезду поэта, что будет мне светить всю жизнь...

☒ Сегодня наши ворота почему-то открыты настежь.

Может, в гости кто приехал? Но ни лошади, ни воза нет ни на дворе, ни под навесом. Я подъезжаю к сарайчику, отпускаю повод, а в это время кто-то сзади сильными руками поднимает меня вверх, а потом прижимает к себе.

И страх, и радостное предчувствие сразу охватили меня, и я зажмурил глаза. А когда раскрыл их,

увидел незнакомое и будто знакомое лицо и снова за-
жмурился.

— Михайлик, не узнаешь?! — все сильнее прижимает
меня к себе высокий, широкоплечий человек с корот-
ко подстриженными усами.

— Нет, не узнаю,— говорю тихонько, и тепло-тепло
становится мне на груди у этого сильного незнакомо-
го и будто знакомого крестьянина.— Вы откуда будете?

— Михайлик, я ж твой батько, узнавай скорее! —
радуется, печалится и целует меня человек.— Ну
узнал?

— Нет.

— Вот тебе и раз,— даже вздохнул он, и глаза его
повлажнели.

Я узнавал и не узнавал своего отца. Слово из да-
лекой тьмы слышался мне его голос, где-то я словно
видел эти глаза, но где — не знаю. Однако хорошо бы-
ло прижаться к тому человеку, который одной ру-
кой придерживал мои босые ноги, а другой — голову.

К нам подошла улыбающаяся мать.

— Узнал? — спросила она.

— Нет.

— Михайлик, глупенький, это ж твой отец! Чего же
ты молчишь?

Я не знал, что сказать,— ни одно слово не прихо-
дило в голову. Вот так меня, онемевшего, внес отец
в хату, где теперь на сундуке лежала шинель, поста-
вил на пол, осмотрел и засмеялся.

— Да он у нас просто парубок, только беда, говорить
не умеет.

— Эге, не умеет! Ты еще узнаешь его,— засмеялась
мать.

— Теперь уж наверное узнаю, никуда не денется. Вот
я его завтра в школу поведу.

— Поведете? — встрепнулся я и заглянул в отцов-
ские глаза.

— Ну да. Хочешь учиться?

— Ой, хочу, батько! — обхватил я отцовы ноги, а он
почему-то захлопал веками и положил руку мне на
голову.

Поговорить с отцом нам не дали соседи. Их сразу
же набилась полная хата, на столе появились немуд-
реные подарки в бутылках, а мать поставила на стол

голубцы с новым пшеном и вяленых व्यюнов, которых мы наловили еще с дедом, и полилась беседа с бесконечными пересудами про землю, политику, заграницу — пойдет или нет на нас Антанта войной. Уже задремав, я захватил в сон отцовы слова:

— Ничего у них не выгорит, ничего! Если не удержались на гризе, на хвосте не удержатся!

На другой день отец взял меня, остриженного, накупанного и одетого во все новое, за руку и повел в школу. Когда после звонка детвора горохом посыпалась из класса, отец подошел к стройной русоволосой учительнице, поздоровался с ней и, наклонив голову в мою сторону, сказал:

— Привел, Настя Васильевна, вам своего школьника. Может, и из него какой-нибудь толк будет.

— Посмотрим,— усмехнулась Настя Васильевна, и улыбнулись продолговатые ямки на ее щеках.— Как тебя звать?

— Михайлом.

— А учиться хочешь?

— Очень хочу! — так выпалил я, что учительница рассмеялась. Смех у нее приятный, мягкий и будто вверх поднимает тебя.

— Только пропустил он много,— сказала отцу.

— Все догоню, вот увидите! — вырвалось у меня, и я с мольбой посмотрел на учительницу.— Читать умею.

— Ты умеешь читать? — удивилась Настя Васильевна.

— Жинка говорила, что, правда, умеет и по всему селу выискивает книжки,— подтвердил отец.

— Это уже хорошо. А кто тебя научил читать? — заинтересовалась учительница.

— Я сам от старших школьников перенял.

— А ну, почитай нам что-нибудь.— Настя Васильевна взяла со стола книгу, полистала ее и протянула мне.— Читай вот на этой странице.

Такой страницей меня не удивишь: тут каждая буква была величиной с воробья, а мои глаза уже успели привыкнуть и к маленьким, словно мак. Я чесанул эту страницу, не спотыкаясь на точках и запятых, чтоб учительнице сразу было видно мое знание.

От такого чтения батяно просветлел, а учительница удивилась и смеясь спросила:

— А быстрее ты не можешь?

— Могу и быстрее, вот дайте,— ответил я, чувствуя, что все идет хорошо.

— А медленней тоже можешь?

— И медленней могу,— удивился я, потому что зачем же делать медленней то, что можно быстро.

— Ну так прочитай, не забывая, что в книжке есть еще и знаки препинания.

И я читал, все время помня о знаках, и видел, как счастливый отец любит свое чтение.

— А цифры ты знаешь? — спросила учительница.

— И цифры до тысячи знаю.

— А таблицу умножения?

— Нет, этого не знаю,— вздохнул я и увидел, как погрузился отец.

Но учительница тут же нас так порадовала, что отец будто даже подрос, а я чуть не подпрыгнул.

— Панас Демьянович, придется вашего ученика записать во вторую группу.

— Спасибо вам,— степенно поблагодарил отец.— Пишите, если на вторую потянет.

Учительница повела меня на ту половину класса, где училась вторая группа.

— Вот тут, Михайло, будешь сидеть,— показала мне на трехместную парту.— Завтра приходи с ручкой, чернилами, карандашом, а книги я тебе сейчас дам...

Домой я не шел, а летел — во-первых, надо похвалиться, что мать сразу имеет школьника не первой, а второй группы, во-вторых, нужно сбегать в лес, нарвать ягод бузины, надрать дубовой коры, а потом сварить их с ржавчиной, чтоб завтра были те самые чернила, которыми тогда писали.

Дома нас ждали мать и дядько Микола. Когда отец сказал, что меня приняли во вторую группу, мать сразу грустно повторила свое: «И что только будет из этого ребенка?» А дядько Микола сказал: «Весь пойдет в меня — это по нам обоим же видно». И в хате стало весело, а мне и за хатой светило солнце...

Учился я хорошо, учился бы, верно, еще лучше, если б имел во что обучаться.

Когда похолодало и первый ледок затянул лужи, я мчался в школу, как ошпаренный. Наверно, это и научило так бегать, что потом никто в селе не мог перегнать меня, чем я немало гордился.

Однажды, проснувшись, я увидел за окном снег, и все во мне похолодело: как же я теперь пойду в школу? В хате в то утро горевал не только я, но и мои родители. После завтрака отец надел свою кирею из грубого самодельного сукна и сказал:

— Снег не снег, а учиться надо. Пойдем, Михайлик, в школу.— Он взял меня на руки, укутал полами киреи, а на голову надел заячью шапку.

— Как же ему, горемыке, без сапог? — жалостно скринулась мать.

— Ничего, ничего,— успокоил ее отец.— Теперь такое время, что главное не в сапогах.

— А в чем?

— Теперь главное — чистая сорочка и чистая совесть,— усмехнулся отец.— Правда, Михайлик?

— Правда,— теснее прижимаюсь к отцу, и мы оба под вздохом матери покидаем хату.

Всю дорогу люди удивлялись, что Панас на руках несет в школу сына, некоторые школьники на это диво тыкали пальцами, а я чуть не плакал от радости, что отец не даст мне бросить науку.

Так первые дни зимы батко относил меня в школу, а после уроков снова заворачивал в кирею и нес домой. К этому привыкли и школьники, и учительница, и я... Если б сейчас спросили, какая одежда лучшая их тех, что довелось мне видеть на свете, я без колебаний ответил бы: кирея моего отца. И когда в книгах я хоть изредка встречаю слово «кирея», ко мне трепетно приближаются самые дорогие дни моего детства.

Как-то, когда на дворе была метель, батко опоздал и только под вечер, белый от снега, с обледенелыми усами, но веселый вошел в класс и громко спросил:

— А который тут Бессапоженко?

— Это я,— высказываю из-за парты.

— Кто это ты? — будто не узнает отец.

— Сын Панасов! — бодро отвечаю я.

— Тогда лови! — отец бросает мне настоящий бублик. Я подпрыгиваю, перехватываю гостинец и радуюсь, что он даже с маком.

— Вы на ярмарке были? — спрашиваю, жалея надкусывать бублик.

— На ярмарке.

— И что-то купили?

— И что-то купили! — весело и заговорщицки подмигнул мне отец, а с его бровей закапал оттаявший снег. — Вот, смотри! — он потряс киреей, и на пол упали настоящие сапожки.


Я сначала остолбенел, поглядел на сапожки, потом на отца и снова на сапожки, которые пахли морозом, смолой и воском.

— Это мне? — спросил я тихо-тихо.

— А кому ж! — засмеялся отец. — Обувайся, сынок.

Я подхватил сапожки, поднял их вверх, и они блеснули серебряными подковками.

И тут мне вспомнились дедовы слова: «Будешь идти среди людей и выбивать искры».



НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ¹

Из романа

Андрий был дома. Он сидел на кровати и играл на мандолине попури из украинских песен и плясок. Он только что закончил грустную мелодию «Та нэма гириш никому, як тий сыротыни» и перешел к бесшабашной стремительности гопака. Играл он мастерски. И в такт неуволимо быстрым движениям руки лихо отплясывал его чуб.

Младший его братишка, девятилетний Василек, упершись головой в подушку и задрав вверх ноги, выделявал ими всевозможные кренделя. Когда он терял равновесие и падал на кровать, то тотчас же, словно же-ребенок, взбрыкивал ногами и опять принимал вертикальное положение.

Заметив Раймонда, Андрий закончил игру таким фортиссимо, что две струны не выдержали и лопнули, что привело владельца мандолины в восхищение.

— А ведь здорово я эту штучку отшпарил! Аж струны тенькнули! — вскочил он с кровати и положил мандолину на стол.

Матери Андрия в комнатухе не было — она ушла к соседям.

— Мне с тобой, Андрий, поговорить надо по одному важному делу.

— А что случилось? — обеспокоился Птаха. — Валяй говори!

¹ Роман Николая Островского воссоздает яркую страницу гражданской войны на Украине, рисует немеркнущие образы представителей нового поколения, «рожденного бурей» — революции. Среди них: молодой рабочий — кочегар Андрий Птаха, его друзья — Раймонд, Олеся, рабочие-революционеры. Особое место в романе занимает младший братишка Андрия Птахи, девятилетний Василек. Николай Островский говорил, что в этот образ он вложил много своего, автобиографического.

В публикуемых эпизодах упоминаются также: собственник завода Баранкевич, преданный ему механик Струмил, белополяки-легiónеры Врона, Заремба, полицейский шпик Дзёбека(ред.).

— Наедине надо.

Андрей повернулся к Васильку. Тот уже сидел на подушке, болтая босыми ногами, и деловито ковырял в носу.

— Василек, сбегай-ка на улицу!

— А чего я там не видел?

— Я тебе сказал — сбегай! Тут без тебя обойдемся.

— Не пойду. Там холодно, а сапогов нету.

— Надень мамины ботинки.

— Ну да! Чтобы она меня выпорола!

— Ты что, ремня захотел? Что ж я, по-твоему, от тебя на двор должен ходить?

— Зачем ходить? Я заткну уши, а вы говорите.

— Васька! — повысил голос Андрей.

Но Василек продолжал сидеть, не изъявляя желания подчиниться. Андрей стал расстегивать пояс. Василек зорко наблюдал за его движениями. Раймонд взял Птаху за руку.

— Пойдем, Андрюша, во двор. Там в самом деле холодно.

Они сели на ступеньках. Дверь из комнаты тихо скрипнула.

— Васька! Засеку! Я тебе подслушаю!

Дверь быстро закрылась.

— Ты что, его в самом деле бьешь?

— Да нет! Но стервец весь в меня. Я ему одно, он мне другое. А бить не могу — люблю шельму. Он это знает. Все сделает, только надо с ним по-хорошему. Не любит, жаба, чтобы им командовали...

Долго сидели они вдвоем, разговаривая шепотом.

Андрей проводил Раймонда до калитки. Там они постояли молча, не разжимая рук.

— Ты понимаешь, Андрей, об этом никто не должен знать.

— Раймонд, я ж сказал! Могила! Я сам не раз думал: да неужели же не найдется такой народ, чтобы правду на свете установил? А тут оно выходит, что есть.

— А может, ты раздумаешь? Так завтра скажешь.

— Я?! Да чтоб мне лопнуть на этом самом месте, если я на попятную! Эх, Раймонд, не понимаешь ты моего характера! Так, думаешь, горлодер... А ведь и у меня тоже сердце по жизни настоящей сучает...

Черная морозная ночь. Студеный ветер рыскал по железнодорожным путям.

На вокзале, на двери жандармского отделения, сменили дощечку. Название осталось то же, но уже на польском языке.

Никто из находившихся в жандармской не знал, что маневровый паровоз на запасном пути как бы нечаянно натолкнулся на одинокий вагон, затем погнал его впереди себя, так же незаметно остановился и пошел обратно. А вагон уже катился сам туда, где его ждали десятка два человек. Под утро тот же паровоз увел его из далекого тупика, что у водокачки, на старое место.

Еще до зари Раймонд вынес из склада типографии завернутую в мешок пачку воззваний. Всю ночь он не спал. Но впереди предстояла еще самая опасная работа.

Наутро семья Михельсона переселилась в комнату Раевских. Хозяевам дома Ядвига сказала, что она с сыном уезжает из города.

На водокачке прибавился новый жилец...

На заводе Баранкевича заканчивала работу вторая смена. У главных заводских ворот скопилась густая толпа пришедших на смену. Часть рабочих прошла через контрольную будку в заводские цехи, остальные, узнав об убийстве, задержались у ворот.

— Чего стойте? Проходите, говорю вам! — кричал старый заводской сторож.

— Успеем... Еще гудка не было.

Андрей кидал в топку последнюю порцию угля. Стрелка часов подходила к трем. Кочегары сменялись на десять минут раньше других.

— Слышал, Андрюша, Глушко застрелили ляхи, — сказал, подходя к нему, его приятель, кочегар Дмитрусь.

В котельную входила новая смена, и Андрей уловил отрывистые фразы:

— А у ворот кутерьма начинается!

— Видал, охранники побежали туда?

За окном послышался выстрел. Кочегары переглянулись.

— Что там?

Несколько секунд все молча прислушивались, невольно ожидая следующих выстрелов. Андрей полез по лесенке на кожух котла. Наверху — три узких окна.

Одно из них было открыто. Из него были видны заводские ворота. Там творилось что-то неладное. Вся площадь перед воротами запружена народом. Какой-то человек, взобравшись на ограду, что-то кричал в толпу. К воротам один за другим подбегали legionеры, охранявшие завод.

Из соседнего машинного отделения в котельную вбежал младший механик пан Струмил.

— Почему вы не даете гудка на смену? — кричал он изо всех сил.

— Где Птаха? Давайте же гудок!

Видя, что его никто не слушает, механик сам схватил кольцо, прикрепленное к канату, открывающему клапан гудка, и потянул его вниз.

Мощный рев ошеломил Андрия. Он забыл обо всем. Он видел только начинающуюся у ворот свалку, и вдруг — этот рев.

Из всех дверей на заводской двор повалил народ.

Среди рабочих — половина женщин.

Андрий быстро спустился на пол.

Струмил отпустил кольцо. Рев смолк. Только теперь механик увидел Птаху.

— Где ты шлялся?

— Я в окно смотрел...

— А-а-а, в окно! Тогда получи расчет! Тебя нанимали для работы... Принимайтесь за дело! — крикнул Струмил кочегарам и выбежал в машинное отделение.

Андрий несколько секунд стоял неподвижно. Его захватила одна мысль.

Он колебался, отстранял ее. Но она уже завладела его волей. Сердце его замерло, как перед прыжком с высоты. И уже в следующее мгновение он ринулся к двери, запер ее, положил ключ в карман. Затем вернулся к котлам, схватился за кольцо и повис на нем. Рев возобновился.

— Ты что, с ума сошел, Андрий! — кинулись кочегары к Птахе. — Хочешь, чтобы нас всех поувольняли?

Но Андрий не слушал их. Он продолжал тянуть кольцо вниз.

— Борис, Андриюшка! Повыгоняют же всех, — взмолился Дмитрий.

Андрий схватил свободной рукой тяжелый лом, которым разбивали уголь, и закричал в лицо Дмитрию:

— Скажи хлопцам, чтоб тикали отсюда! Через запасную. Пушай говорят, что я ломом их дубасить стал...

Но его не было слышно. Тогда Андрий отпустил кольцо. Рев мгновенно стих. Ухватив обеими руками лом, сверкая глазами, весь черный от угольной пыли, он кричал товарищам:

— Выбегай через запасную! Ребята, по-дружески прошу — выбегай сейчас же! Я гудеть буду, чтобы народ поднять... Пушай меня одного мордуют... Выскакивай, хлопцы, а то вдарю ломом! Живей! — Он замахнулся. Кочегары гурьбой бросились к запасному выходу.

Андрий набросил железные крюки на дверь, засунул свой лом между дверными ручками и опять схватился за кольцо. Вновь, потрясая воздух, заревел гудок, прерывистый, страшный вестник несчастья. Он заставил всех в городе выбежать на улицы. Он вздыбил редкие волосы Баранкевича. Он заставил побледнеть Брону и бросил в дрожь Дзёбека. В тюрьме напряженно прислушивались к этому реву. Из немецкого эшелона выскакивали солдаты и оглядывались вокруг. А гудок продолжал реветь...

В дверь котельной ломились охранники. Но окованная железом массивная дверь чуть вздрагивала под ударами их прикладов.

— Несите лестницу! Марш к окнам! Стреляй по нему, пся его мать! — кричал капрал охране.

Андрий узнал об опасности, лишь когда в окно грянул выстрел и пуля свистнула у его головы. Он невольно выпустил кольцо. Рев смолк. Спасаясь от нового выстрела, Андрий бросился к угольной яме.

Вытянув руки с карабином вперед, в окно втискивался легионер. Птаха метался в угольной яме, как пойманная мышь. Он чувствовал, что приходит конец его бунту. Его охватило отчаяние.

Окно было узкое, и легионер с трудом продвинулся в него одним плечом. Сзади его подталкивали. Тогда Андрий схватил кусок антрацита и, рискуя быть убитым, выскочил из ямы. Размахнулся, с силой швырнул углем в окно и попал в лицо легионера. Тот взвыл. Лицо его вмиг окровавилось. Он уронил карабин и повалился на руки державших его снизу охранников. Карабин лязгнул о цементный пол котельной. Вновь



бабахнул выстрел. Андрий ошалел от радости. Он бомбардировал окно каменным углем.

За окном послышались дикие ругательства. Люди с лестницы поспешно сползли на землю.

Андрия охватило неистовство. Он отстегнул свой пояс и привязал им кольцо к регулятору давления. Гудок вновь зарычал. Уже не прерывисто, так как Птаха прикрепил ремень наглухо.

Теперь руки Андрия были свободны. Боясь быть застигнутым врасплох, он непрерывно швырял углем в окно.

В пылу борьбы Птаха забыл, что в котельной есть еще два окна. Только когда из обоих нераскрытых окон вылетели стекла и со стен посыпалась штукатурка, Андрий с тоской понял, что с тремя окнами ему не справиться. Пули опять загнали его в угольную яму. В одном из окон появилось дуло карабина.

Андрий яростно швырнул туда камень. Но выстрел из другого окна заставил его отпрянуть назад.

— Вот теперь конец, — сказал Андрий и чуть не заплакал. Его охватила апатия, расслабленность.

Он сразу почувствовал тяжелую усталость. И, уже отказываясь от сопротивления, присел в углу ямы. Что-то больно ткнуло его в бок. Птаха невольно схватился за предмет, на который наткнулся. Это был наконецник пожарной кишки, которой кочегары пользовались для смачивания угля.

В усталом сознании что-то сверкнуло.

— А-а, вы думаете, что меня уже взяли, сволочи, панские души! Сейчас посмотрим! — кричал он, хотя его никто не слышал из-за сумасшедшего рева.

Андрий бешено крутил колесо, отводящее воду в шланги. Пар с пронзительным свистом вырвался из брандспойта. Вслед за ним хлынула горячая вода. Угольная яма наполнилась паром. Андрию нечем стало дышать. Дрожащими руками он схватил брандспойт и, обжигая пальцы, страдая от горячих водяных брызг, направил струю кипятка в котельную.

И уже не думая о том, что его могут убить, хлестнул струей по окнам. Он плясал, как дикий от радости, слушающий, как взвыли за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочал брандспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком.

Сердце его рвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром. По полу лилась горячая вода. Андрий спасался от нее на подмуровке котла. Ему было душно. Жгло руки. Но сознание безвыходности заставляло его продолжать сопротивление.

Василек пробрался на завод с первой группой рабочих, пришедших на смену. Он во что бы то ни стало хотел первым рассказать брату, как убили дядю Серегу, их соседа.

Василек не раз пробирался к брату даже во время работы, как уж проскальзывая между рабочими, избегая встреч со сторожами. Часто целые смены проводил с братом в котельной, стараясь быть ему чем-нибудь полезным. Кочегары любили этого шустрого мальчишку, быстро постигающего искусство кочегарного дела.

Один раз он даже попался на глаза пану Струмилу, но кочегары заступились за мальчика, и механик махнул рукой. Мальчик помогал кочегарам разгружать вагоны с углем, знал в котельной все ходы и выходы и вскоре нашел себе удобную лазейку, через которую пробирался в котельную, минуя всех дверных контролеров. Он забирался на угольный двор, залезал в широкую вентиляционную трубу, по которой спускался к выгребной яме, куда сваливался отработанный угольный шлак. Потом по железной балке добирался он к угольной яме, а оттуда, отвалив два-три куса антрацита, попадал в котельную, в выемку, из которой брали уголь. Свой секрет Василек не выдавал никому, даже брату. Ему было приятно появляться неожиданно и вызывать восхищение кочегаров ловкостью, с которой он проскальзывал мимо дверных контролеров.

Ужас охватил Василька, когда он узнал, что Андрий заперся в котельной и что его хотят убить. Мальчик с замиранием сердца следил за попытками легионеров забраться в котельную.

Когда эти попытки провалились, радости его не было границ. Василек метался среди рабочих и, умоляюще глядя полными слез глазами, спрашивал знакомых кочегаров:

— Скажите, дядя, что они с ним сделают?

Кочегары хмуро отмалчивались. А один взял его за руку и отвел в сторону:

— Улепетывай отсюда, пока живой! Один уже достукался... Или хочешь, чтобы и тебе башку свернули под горячую руку?

Василек увернулся от него. Заливаясь слезами, опять побежал смотреть, что делают legionеры.

За тем, что происходило в котельной, наблюдали все рабочие, задержанные на заводском дворе. Отчаянная отвага одиночки, перед которой оказались бессильными вооруженные legionеры, покорила сердца. Сумрачные, измученные тяжелой работой люди чувствовали в сопротивлении одного человека укор своей пассивности. А рев не давал забыть об этом ни на одну минуту. Теперь судьба Птахи глубоко тревожила всех. Восхищаться им стали открыто, особенно женщины. Послышались негодующие голоса:

— Стидились бы, мужики, глядеть! Одного оставили на погибель, а сами — деру!

— Больше с бабами воюете...

— Там они герои — бабам зубы выбивать...

Возбужденные криками женщин, гудком и всем происходящим, рабочие отказывались уходить со двора. Legionеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями и хлестали плетью.

Заремба охрип от крика. Сопrotивляясь, разъяренные рабочие стащили с лошади одного legionера. Его едва отбили. С большим трудом эскадрон Зарембы очищал двор.

Василек не находил себе места. Эту мятущуюся маленькую фигурку уже заметили legionеры.

— Эй ты! Чего тебе здесь?.. Куда бежишь? — крикнул на него один. Василек нырнул в толпу и, работая локтями и головой, забираясь в самую гущу. Боясь, чтобы его не поймали, он убежал через служебный ход на угольный склад и тут только вспомнил о своей лазейке...

Добравшись до угольной ямы, Василек долго в темноте ползал по углю, больно натыкаясь на камни коленями и головой, ища прохода к выемке и не находя его. Он был засыпан вновь привезенным углем. Тогда мальчик стал разгребать уголь, оттаскивать в сторону тяжелые куски. Один из них скатился назад и больно ударил его по босым ногам. Василек упал и долго плакал. Но, наплакавшись, вновь принялся за работу. Он уже вырыл небольшую яму. Но разгребать становилось все

труднее. Уголь приходилось таскать наверх и бросать подальше, чтобы он не катился на голову. Угольная пыль лезла в нос и глаза. Он чихал и отплевывался. Но углю конца не было видно. Василек подумал, что он не там копает. Ему стало обидно и страшно. Он опять заплакал.

— Андрий, Андрю-ю-юшка!.. — закричал он изо всех сил.

Андрий подскочил, словно его ужалили.

— Тьфу, черт!

Ему показалось, что где-то за спиной плачет Василек.

Птаха стоял в угольной яме, держал в руках карабин и не отрывал глаз от окон.

Брандспойт лежал тут же, рядом. Пар, который чуть было не задушил его, медленно выходил через окна. В котельной было мрачно и душно.

Андрю иногда казалось, что все это — дурной сон. Уже прошло три часа, а его никто не выручал. И все, что он сделал, ни к чему. Его все равно возьмут и застрелят. И никому до этого нет дела. Все в стороне, только он один, Птаха, должен положить свою голову!..

— Андрюшка! — где-то совсем близко кричал Василек.

Сверху скатился камень и больно ударил Андрия по плечу. Вслед за тем радостный крик: «Это я, Васька!» — удержал Птаху от выстрела.

Настоящий, живой Василек спускался к нему. У Андрия застучали зубы при мысли, что он едва не застрелил его сейчас.

— Андрюшка, это я... Там их понаехало еще много... Целый двор на конях. И самый главный ихний... Тикай отсюда! Тут дыра есть... Я сквозь нее каждый раз лазал. Только сейчас угля насыпали доверху, я не мог пролезть! — кричал Василек в ухо брата, обнимая его.

Сердце Андрия заколотилось.

— Откуда ты залез сюда?

— С угольного двора.

— Там хода нету...

— А я через трубу. Она широкая. И ты пролезешь. Идем, Андрюшка, идем! Бо их там наехало! Дядя Остап говорит, что они тебя убьют!

Василек тянул Андрия к отверстию.

— Лезь, я за тобой!

Василек покарабкался вверх. Птаха еще раз оглядел котельную, затухающие топки и полез за ним. Василек уже ожидал его там. Андрий осторожно взвел предохранитель и подал ему карабин. Затем, царапая плечи, втиснулся в дыру и, хватаясь руками за осыпающийся уголь, с большим трудом выбрался наверх.

Василек торопил его. Андрий схватился руками за тяжелую каменную глыбу и свалил ее в дыру. Мальчик помогал ему, руками, ногами сталкивая туда куски антрацита. Через минуту дыра была завалена.

Василек вел Андрия своими путями. Птаха с ужасом думал, что будет, если он не влезет в вентиляционную трубу. С огромным облегчением вздохнул он, когда вслед за Васильком просунул голову и плечи и стал медленно продвигаться вперед.

Когда они выбрались наверх, шел мелкий дождь. Угольный двор находился вне основной заводской территории, от которой он был отделен высокой каменной стеной.

Сюда шли подъездные железнодорожные пути.

Василек пошел на разведку. Скоро он вернулся и сообщил, что на путях никого нет.

— Там пустые вагоны стоят в три ряда. Посередке под вагонами можно пройти, и никто не увидит. А около задних ворот никого нету. Их на замок закрыли. Мы на вагон влезем, а с вагона на ворота — и айда в поле! — говорил Василек в самое ухо Андрию.

Они сползли с угольной горы и, согнувшись, побежали между вагонами.

План Василька оказался прекрасным. Последний вагон стоял у самых ворот. Они перелезли через решетчатые железные ворота и бросились бежать по железнодорожному полотну.

Василек летел впереди, как птица, расставив руки и делая двухметровые прыжки. Он часто оглядывался, поспевает ли за ним брат. Андрий бежал что есть мочи. Дождь хлестал им в лицо. Низкие, тяжелые тучи заволокли все небо.

Андрий не бросал карабина. «Все равно убьют, если поймают. Так хоть порешу двоих под конец», — думал он, не веря еще, что спасется. И только когда завод остался далеко позади и подъездные пути стали поворачи-

чивать к вокзалу, Андрий остановился и, обессиленный, опустился на насыпь...

— Стой, Василек, не могу больше! — крикнул он и схватился рукой за сердце.

— Тикаймо, Андрюшка, тикаймо, а то догонят! — Боязливо озираясь, мальчик нетерпеливо подпрыгивал. Промокший до последней нитки, он зябко ежился от холода и испуга. Забрызганные грязью босые ноги его окоченели. Стоя на шпале, он нет-нет да тер ногу об ногу.

Ему казалось, что Андрий сидит очень долго.

— Уже будет, Андрюшка, побежим!

Птаха устало повернулся, посмотрел на ноги Василька и на какое-то подобие фуражки, блином прилипшей к его голове, на всю его согнувшуюся в три погибели фигурку в старой женской кофте, и острая жалость и горькая обида на собачью жизнь, при которой он не мог заработать даже на сапоги и одежду этому ребенку, сдавили ему горло.

«А теперь и куска хлеба не будет. И самому девать-ся некуда...»

— Андрюшка, — жалобно затынул Василек.

Андрий поднялся. Оттуда, где в густом тумане утонул завод, неслось грозное завывание гудка.

— Гудит, — с гордостью прошептал он, с наслаждением прислушиваясь к густому басу своего собеседника. И уже не побежал, а пошел быстрым шагом. Василек трусил мелкой рысцой рядом, поминутно оглядываясь.

С высокой насыпи Птаха увидел знакомый домик у водокачки и только теперь поверил в свое спасение.

— Василек, братишка! Пацаненок... Васька, стервец! Плевали мы теперь на них! А за тебя я еще рассчитуюсь. — Он обнял братишку, прижал его к груди. Благо не надо было скрывать слез. Кто рассматривает их, когда дождь обрушивается целыми потоками.

...Домик у водокачки наполнялся людьми. Первой пришла Ядвига. Пока Олеся возилась в кухне у печи, она успела рассказать мужу все новости.

За ней появился Воробейко. Он вынул из-под пальто разобранную двустволку и патронташ. Прикрепив стволы к прикладу, зарядил ружье и с удовлетворением поставил его в угол.

— Я патроны набил картечью. На двадцать шагов смело можно... Ночью не разберешь, с чего стреляют, а грому наделает достаточно. Для начала ничего! А это на закуску,— с гордостью сказал он, вынимая из кармана обойму с немецкими патронами.— Пять штук... У соседского мальчишки выпросил. Подобрал где-то, чертенок. Ему на что? А нам до зарезу... Дадим пятерым по патрону, каждый по разу бухнуть сможет...

Воробейко бережно положил обойму на стол. Вода текла с него ручьями. Но помощник машиниста был в хорошем настроении. Он смешно шевелил своими белесыми бровками и, часто шмыгая носом, оживленно рассказывал, каких «отчаянной жизни» парней он приведет.

— На ходу подметки рвут! — не нашел он более сильного выражения.— Как совсем стемнеет, я приведу их. А сейчас я понесся назад. Там еще поговорить надо кое с кем, да и паровоз пристроить. Кабы не немцы, так это бы плевое дело... Принес их черт как раз! Говорят, сейчас им вперед ходу нет — там им панки пробки ставят... Ну, я пошел,— заторопился он.

Уже в сенях вспомнил что-то, вернулся.

— А не принесть ли вам пока винтовку из камеры? А то занесет сюда нелегкая какую-нибудь стерву, отбиться нечем!

Раевский кивнул головой.

Когда Воробейко вернулся, в доме уже были Раймонд и несколько рабочих. Среди них — высокий белокурый юноша, которого Раймонд познакомил с отцом.

— Это Пшеничек. Он тебе расскажет про Патлая и других товарищей. Я его случайно встретил у Степового.

Раевский крепко пожал юноше руку.

— А это,— шепотом добавил Раймонд, указывая глазами на входящих рабочих,— пулеметчики. Ты, помнишь, говорил, чтобы я познакомил тебя? Вот этот высокий, Степовый, а другой, усатый, Гнат Верба,— это старые солдаты. Пулемет они, между прочим, принесли в мешках по частям. Мы его сейчас соберем на водочке. Лента есть, только патронов нет... Остальные придут позже, как ты приказал.

В комнате становилось тесно. Высокий рабочий проверял принесенную Воробейко винтовку.

— Новенькая! Штык прикрепляется вот так: раз, два — и готово!

Раевский расспрашивал рабочих о настроении в поселке.

Ядвига ушла помогать Олесе. Раймонд тоже пошел на кухню, позвав с собой Пшеничека.

— Вот, Олеся, новый товарищ. Помните его?

Пшеничек, не зная, куда деть мокрую фуражку, крутил ее в руках. Ему уже рассказали об аресте отца. Тревога за старика не давала ему покоя.

— Присаживайтесь здесь вот, на лавке. Хоть и тесно, но уж извиняйте, — пригласила Олеся и ловко высыпала из горшка в большую миску вареный картофель.

Ядвига поливала маслом кислую капусту.

Раймонд чувствовал, что необходимо сказать девушке об Андрии.

— Олеся, вы знаете, кто это гудит?

— Нет, а что?

— Говорят, что Птаха закрылся в котельной.

Черные брови девушки встрепнулись. Она не чувствовала, что горячий чугун жжет ей пальцы.

— Как Андрий? Один?

— Да. Его окружили... До сих пор отбивается от них.

Пшеничек следил за Олесей грустным взглядом.

— Как же так, Раймонд? Почему его оставили! Что ж он один делает?

Раймонд не мог смотреть ей в глаза. Он вышел из кухни.

— Отец, ты помнишь, я тебе говорил об Андрии Птахе?

— Помню.

— Это он гудит на заводе. Его убьют. Разреши нам, отец, прошу тебя...

Раймонд чувствовал, что за его спиной стоит Олеся.

— Разреши нам... Сейчас еще товарищи придут из поселка... Все знают Андрюшу. Разреши нам выручить его!

— Да, жаль парня! Кончат они его, — негромко сказал стоящий у двери высокий рабочий, тот, кого Раймонд назвал пулеметчиком.

Брови Сигизмунда сошлись в одну сплошную линию.

— У нас нет патронов. И притом выступать по частям нельзя.

Никто не шевельнулся. Раймонд стоял перед отцом, как немая просьба.

Раевский посмотрел в широко раскрытые глаза девушки, и она поняла, что он не уступит.

— Господи! Неужели у вас нет сердца! — чуть слышно прошептала она.

Седая голова Раевского на несколько секунд устало склонилась на руку. Концы усов сурово свисли вниз. Олеся вспомнила, что этот человек не спал две ночи. А сколько таких бессонных ночей было до этого! С какой любовью и уважением говорит о нем отец.

Этот редко улыбающийся человек всегда встречал ее ласково. Ей стало стыдно своей первой мысли...

Гудок внезапно оборвался. Несколько секунд никто не проронил ни слова. Олеся зарыдала и бросилась к себе в комнату. Упав на кровать, она содрогалась от рыданий.

Ядвига молча гладила ее по голове. В дом входили все новые и новые люди. Машинное отделение водокачки, сарай, большая комната и кухня едва вмещали пришедших. Вернулись Ковалло, Чобот, с ними железнодорожники. Всех мучил вопрос, почему замолчал гудок. — Добрались-таки!

И вдруг в дверях появился Птаха. Сзади него — Василек.

— Вот те на!.. — ахнули все.

Птахе почудилось в этом возгласе какое-то разочарование, почти раздражение.

— Птаха, ты? — крикнул Раймонд, выбегая из кухни.

— А то кто же? — буркнул Андрий, удивленный множеством почему-то собравшихся здесь людей и тем, что у мостика их с Васильком остановил вооруженный Воробейко.

Заговорили все сразу.

— Смотрите, говорили, что он гудит на заводе, а он себе гуляет!

Услышав восклицание Раймонда, Олеся вбежала в комнату. Ковалло исподлобья невольно взглянул на Андрия:

— Тут про тебя сказки ходят, будто ты гудишь, а выходит, зря?

— Значит, там кто-то другой. Со страху те балды кочегары перепутали...

— Кто же гудел?

— Отчаянный, видать, парень!

— Настоящий боец! Замечательный человек! Очень жаль, если эти негодяи его убили! — взволнованно сказал Раевский и поднялся во весь рост.

У Андрия потемнело в глазах от обиды. Измученный, похудевший за эти несколько часов, он стоял, низко опустив голову, измокший, весь испачканный углем. Этого никто не заметил. Бывает так: люди, отвлеченные чем-либо волнующим, не замечают того, что в спокойной обстановке сразу бросилось бы им в глаза.

Про Птаху тотчас же забыли. Он был досадным эпизодом. Его считали героем, а он оказался праздно болтающим парнем. Это вызвало у всех чувство недовольства, даже обиды за ошибку.

Олесе стало стыдно своих слез и оттого, что их все видели и могут всякое подумать о ней. То, что Птаху попал в такое нелепое положение, хотя и без вины с его стороны, больно задело ее девичье самолюбие.

Она смерила жалкую фигуру Андрия обидным взглядом. «И чего я в нем видела хорошего? Стоит как дурак! Хоть бы ушел, что ли!» — зло подумала она.

Раймонд старался не встретиться с ней взглядом. Ему было неловко.

Василек возмущенно выглядывал из-за спины брата. Он не понимал, как это Андрюшка терпит. «По-ихнему, так мы и на заводе не были? А то, что мне углем пальцы поотбивало, так это их не касается, — почему-то именно о пальцах вспомнил он. — А еще мамка пороть будет», — с тоской подумал он и готов был заплакать. Он уже начал сморкаться.

Андрей поднял голову.

Олеся видела, как внезапно побледнело его лицо. Он шатнулся и, чтобы не упасть, схватился рукой за стену.

«Что он, пьяный, что ли? Только этого не хватало!» — с испугом подумала Олеся, но что-то подсказывало ей иное. Ей стало жалко его. Она подошла к нему и тихо сказала:

— Чего ты здесь торчишь? Пройди на кухню. На кого ты похож? Тоже герой...

Андрей сделал шаг вперед, отодвинул ее рукой в сторону.

— Так, значит, с меня насмешки строите? Я жизни не жалел... Вы все разбежались, меня одного оставили на расправу! Я один с ними бился, от вас подмоги ждал, а вы здесь прохлаждались... А теперь насмешки...— Андрий глотал слезы.

Все вновь смотрели на него. Его натянутый, как струна, голос, его волнение, весь вид, истерзанный и возбужденный, заставили всех посмотреть на Андрия иными глазами.

Птаха больше не мог говорить. Шатаясь, он пошел в кухню, через нее — в комнату Олеси. Здесь Андрий опустился прямо на пол и так лежал в полузабытьи. Ошеломленная всем этим, Олеся тщетно пыталась добиться у него объяснения.

Зато Василек охотно рассказывал в кухне Раймонду и Пшеничкеу обо всем происшедшем. Маленького свидетеля повели к Раевскому. Василек, освоившись и обогревшись, повторил свой рассказ, не преминув добавить:

— А ружжо Андришка с собой взял, ей-бо! Оно за сараем стоит. Сейчас принесу.— И, не ожидая согласия, исчез за дверьми.

Скоро он вернулся.

— Во! Заряженное.

Сигизмунд пошел в комнату Олеси. Птаха все еще лежал на полу.

Раевский приподнял обеими руками его голову. Из глаз парня текли слезы.

— Вы молодчина, Птаха! Я не беру своих слов обратно... А товарищам надо простить их ошибку.

Птаха нашел его руку.

— Это я гудел,— прошептал он.

— Никто в этом теперь не сомневается.

Раевский почувствовал в своей руке его разбухшие пальцы:

— Что с вашими руками?

— Я обварил их кипятком...

— Вы останетесь здесь и отдохнете. Я освобождаю вас от участия в бою. Охраняйте женщин.

СОДЕРЖАНИЕ

ГУМИЛЕВСКИЙ ЛЕВ	
ДРУГАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Рассказ	5
ЖАРИКОВ ЛЕОНИД	
ПАШКА ОГОНЬ. Рассказ	16
ШОЛОХОВ МИХАИЛ	
НАХАЛЕНЮК. Рассказ	35
КОНОНОВ АЛЕКСАНДР	
ЧАПАЕНОК. Рассказ	63
ПАНЧ ПЕТРО	
ПРОСТРЕЛЕННАЯ ФУРАЖКА. Глава из повести «Сын Таращанского полка» . . .	68
ГАЙДАР АРКАДИЙ	
Р. В. С. Рассказ	81
ПАНТЕЛЕЕВ ЛЕОНИД	
НОЧКА. Рассказ	119
ГОЛОВКО АНДРЕЙ	
КРАСНЫЙ ПЛАТОК. Рассказ	142
БЕСАЕВ ТАЗРЕТ	
НАКАЗ ОТЦА. Рассказ	155
БЯДУЛЯ ЗМИТРОК	
НА БОЛОТЕ. Рассказ	162
ГОЛОВКО АНДРЕЙ	
ФИЛИППОК. Рассказ	168
СТЕЛЬМАХ МИХАЙЛО	
ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ. Из повести	181
ОСТРОВСКИЙ НИКОЛАЙ	
РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ. Из романа	190

ОРЛЯТА

Литературно-художественное издание

Составитель
Григорий Михайлович Гельфандбейн

Рассказы

Для детей младшего
и среднего школьного возраста

Редактор В. Н. Верховень
Художественный редактор А. С. Трофименко
Технический редактор В. Я. Козинченко
Корректоры: Л. И. Столбовая, В. Ф. Чумаченко

ИБ № 2045

Сдано в набор 29.12.86. Подписано к печати 02.04.87.
БЦ 08198. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2.
Гарнитура школьная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 10,92. Усл. краскоот. 11,34. Уч.-изд. л. 10,71.
Тираж 150 000 экз. (1-й завод 1—50 000 экз.). Звк. 7-12.
Цена 80 к.

Издательство «Прапор», 310002 ГСП,
Харьков-2, ул. Чубаря, 11.

Книжная ф-ка им. М. В. Фрунзе, 310057,
Харьков-57, ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ
„Рожденные бурей“

АЛЕКСАНДР КОНОНОВ
„Чапаенок“

ПЕТРО ПАНЧ
„Простреленная
фуражка“

АНДРЕЙ ГОЛОВКО „Фил

АНДРЕЙ ГОЛОВКО
„Красный платок“

АРКАДИЙ ГАЙДАР Р. В. С.

ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ

„Другая революция“

ТАЗРЕТ БЕСАЕВ „Наказ отца“

„Пок“

ЛЕОНИД ЖАРИКОВ

„Пашка
Огонь“

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

„Гуси-лебеди летят“

80 н.

— 6116410 —
1 0719779

